

В. НИКОЛАЕВ

# МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ

# МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ

ПОВЕСТИ

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, СВЕРДЛОВСК 1969

Владислав Николаев живет в Тюмени. Каждое лето он отправляется в путешествие — устраивается либо простым матросом на зверобойном судне, либо радиометристом в поисково-съемочной партии. Потом свои наблюдения, впечатления от интересных поездок писатель выливает в новые произведения. Они подкупают читателя жизненной достоверностью, богатством невыдуманных деталей. Владислав Николаев — автор повестей «Подснежники», «Свистящий ветер», «В ледостав», «Ледяное небо», «Река сердечная», сборника «Лирические рассказы».

Сейчас писателю 37 лет. Детские годы он провел в одном из крупнейших индустриальных центров Урала — Нижнем Тагиле. После окончания в 1953 году факультета журналистики Ленинградского университета работал в Сибири, в газетах «Красноярский рабочий» и «Советская Хакасия». Там родились его первые большие очерки, вошедшие в книги «На новом месте» и «Жемчужина гор Саянских». В 1963 году Владислава Николаева принимают в члены Союза писателей. «Маршальский жезл» — его восьмая книга.

7 — 3 — 2

69 (м)

# МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ

### ПОВЕСТЬ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Эту повесть можно было бы начать с того дня, когда Татьяна, еще студентка горного института, впервые пришла к нам в редакцию и принесла заметку о работе студенческого научного общества.

Или с другого дня, когда она появилась в моем отделе во второй раз и совершенно неожиданно пригласила меня на комсомольскую свадьбу. Да, так и сказала: «Я приглашаю вас на свадьбу. Писать о ней не надо. Просто мне не с кем пойти... Может, составите компанию?» «С удовольствием!» — не скрывая радости, ответил я и обратил внимание на то, что Татьяну не удивило мое быстрое согласие, будто иной реакции она и не ждала.

Или со дня нашей собственной свадьбы.

Или, наконец, с того весеннего сырого вечера с раскисшим хлюпающим снегом, когда мы вместе после работы купили в комиссионном магазине железную, пахнущую керосином кровать и долго не могли найти ни подводы, ни машины, чтобы перевезти ее домой. По случаю свадьбы мне дали в редакционном доме крохотную комнатку с узким, как в уборной, окном, и теперь мы обставляли ее.

Потом подвернулся старик с санками, и я договорился с ним. Старик был совсем ветхий. Склеенными из ре-

зиновых камер глубокими чунями месил он понуро грязный снег по проезжей части улицы, а мы гуляющим шагом шли по расчищенному тротуару и не смотрели в его сторону — будто нам и дела нет до этого старика, и клопяная кровать совсем не наша.

Мне казалось, что я люблю Татьяну с самого первого мгновения.

Вот она переступила порог кабинета, еще не успела притворить за собой дверь, и я еще толком не успел разглядеть ее, а в груди у меня уже сладко и тревожно заныло. Пустой и легкий, я вскочил со стула и сквозь обвальный грохот в ушах еле разобрал ее тихий голос:

— К вам направили. Посмотрите, пожалуйста.

Из протянутой руки я взял ученическую тетрадку и предложил девушке сесть. Голоса своего не слышал, но по тому, как она повернулась и прошла в противоположный конец комнаты, где у балконной двери стояло кресло для гостей, догадался, что приглашение сесть и чувствовать себя как дома я все-таки произнес вслух, а не подумал про себя.

Кресло было низким и мягким, и, когда она опустилась в него, ее колени оказались на уровне подбородка.

Химические буквы прыгали перед глазами. Я весь напрягся, чтобы не смотреть туда, к балконной двери, но не мог совладать с собой, время от времени поднимал воровски глаза, и взгляд мой утыкался в прекрасные стройные ноги, гладко обтянутые прозрачными чулками.

Заметку я все-таки осилил. На последней странице стояла подпись: Татьяна Красовская, студентка четвертого курса горного института. Заметка была немудрящей — такие можно печатать и можно не печатать, но я с воодушевлением воскликнул:

— Замечательно! Просто здорово! Мы ее поставим в самый ближайший номер! — и еще добавил, потому что

не хотел, чтобы эта Татьяна Красовская сразу ушла: — Вы посидите. Я еще раз посмотрю. Может, что подправить надо, хотя написано превосходно! Потом перепечатаю на машинке, и вы распишетесь под текстом. У нас так заведено.

Пока я правил и перепечатывал, — чтобы подольше побыть рядом с Красовской, дышать с ней одним воздухом, я и машинку принес в отдел и заметку перепечатывал сам, — девушка по-прежнему сидела в низком кресле у балконной двери и морщила в лукавой, понимающей улыбке губы. «И в каких только оранжереях выращивают таких красавиц, — благоговейно думал я, — чем их кормят, поят, какой климат создают, чтобы такой нежной была кожа, такими шелковистыми — волосы, такими стройными и породистыми — ноги?»

Глаза у нее были серые, с подсиненными белками. На лице ни следочка косметики. Все от бога!

В тот раз я увидел Татьяну такой, какой уже больше никогда не видел, а мог лишь иногда, лежа рядом в темноте, представить, и этого было достаточно, чтобы, как и при первой встрече, тревожно и сладостно гудело внутри.

Татьяна поднялась, и я с грустью отметил, что она почти одного роста со мной.

На другой день и на следующий и потом еще целую неделю я ходил на работу кружным путем, мимо горного института, в надежде как бы случайно встретить свою недавнюю посетительницу, но так и не встретил. А потом она пришла в редакцию сама и пригласила меня на комсомольскую свадьбу.

Но то не была еще любовь, а было пленение красотой, желание устроить жизнь по-своему, а не так, как диктовали житейские обстоятельства, представшие передо мной в лице племянницы нашего ответственного секретаря и моей однокурсницы Сталины Петровской.

За все пять лет учебы в университете мы со Сталиной не перебросились и десятком слов, а теперь, направленные в чужой город, в одну редакцию, должны были дружить, ходить вместе в столовую, в кино, в театр, а по вечерам то у нее, то у меня — жили по соседству на частных квартирах — играть в дурачка. Причем вначале играли на щелчки, потом на желания, а последние дни уже откровенно на поцелуи, и дурачок грозил привести бог знает к чему.

Но ни дурачок, ни поцелуи не были для меня так опасны, как наш ответственный секретарь и ее племянница.

Ответственного секретаря звали Манефой Казимировной, а за глаза — просто Манефой. Это была невысокая полная женщина с широким веснушчатым лицом. На плечах в любую погоду — будь жара или холод — пуховая шаль. Познакомился я с ней в тот день, когда сдал в секретариат свою первую заметку; под вечер она сама пришла в отдел, уселась в кресло и тоненьким голосом, по-детски картавя, похвалила меня за стиль, в котором якобы почувствовала и образованность, и талантливость, потом стала расспрашивать об университете, родителях и страшно удивилась, когда узнала, что отец у меня — грузчик, мать — каменщица, оба малограмотные и понятия не имеют ни о каких стилях.

— Да!? — протянула Манефа,— А я думала, из интеллигентной семьи, влача или инженела... Но ничего, это даже лучше.

Успокоила меня в том, в чем я, собственно, всегда был спокоен, я даже гордился своей рабочей косточкой.

Слушая Манефу, я никак не мог привыкнуть к ее голосу, все время казалось, что она лишь играет под девочку и что настоящий ее голос совершенно другой, низкий и звучный.

— У вас в голоде ни лодных, ни знакомых?

— Ни родных, ни знакомых.

— Так вот, мы с Илочкой возьмем над вами шефство. Илочка — моя племянница, студентка пединститута, к слову, тоже лителатол, живем вдвоем. Значит, лешено: вы — подшефный, — и Манефа, довольная своей затеей, шаловливо похлопала в ладоши.

В тот же день меня повели в кино, посадили рядом с Ирочкой, кукольно-хорошенькой, с круглыми глазами и румяными, тугими, прямо-таки гуттаперчевыми щечками, после кино потащили к себе, поили чаем с клубничным вареньем. Все это повторялось еще несколько раз, и после чая я обычно искал предлога, чтобы побыстрее удрать, а Ирочка сердилась и мучилась из-за того, что никак не могла развеселить меня.

Ирочка провожала меня до лестничной площадки, и там поправляла мне шарф, заглядывала в глаза, а я весь каменел от неловкости и торопился убежать: знал — обними сейчас ее, приласкай, и мне уже никогда не отделаться от этих не в меру ласковых и настойчивых женщин.

Свадьба — та, комсомольская, а не моя — праздновалась в комнате отдыха студенческого общежития. Собралось много народу — человек двести, а может, и больше, столы протянулись в три ряда, и все равно за ними не хватило места.

Невеста была студенткой, а жених уже окончил институт и несколько лет проработал в съемочной партии, о чем свидетельствовала его черная курчавая бородка; по таким же бородкам узнавались и гости со стороны жениха, но их пришло немного, зал в основном был набит студентами.

Бородатые таежные волки подарили молодоженам транзисторный приемник, а потом понесли свои подарки

студенты: письменный прибор, столовое серебро, чайный сервиз, скатерть, зеркало, утюг, шахматы, еще один приемник — конца края не было подаркам, купленным вскладчину на студенческие рубли.

Бородачи были посрамлены. А я наклонился к Татьяне и прошептал ей на ухо:

— Отныне ищу себе невесту только среди студенток.

— Похвальное решение! — с веселой улыбкой повернулась Татьяна. — И не теряйте зря времени. Вон за столом какой выбор!

— Я уже выбрал.

— Кого, если не секрет?

— Вас.

— За чем же дело стало? Скорее предложение...

— Да, да немедленно! Руку и сердце! И велите не убирать посуду. Завтра же играем свадьбу. Кстати, откуда эта посуда?

— Из студенческой столовой.

— А эти сказочные яства?

— Вскладчину куплены. Все у нас вскладчину.

— Бедные студенты! Наверно, без рубля до стипендии остались.

— Уж конечно.

— Тогда не перенести ли нашу свадьбу до следующей стипендии? Иначе и подарков не получим.

— Приятно, что мой будущий муж — с практической сметкой.

У Татьяны порозовели щеки, серые глаза блестели. Она была самой красивой на этой свадьбе. Я ревниво подмечал: бородачи с нее глаз не сводят, тянутся через столы с рюмками, чтобы чокнуться; когда кончилось застолье и в коридоре грянула музыка — все общежитие гуляло, я немедля схватил Татьяну за руку и потащил танцевать. «Нет, никому не отдам, — лихорадочно думал я, — ни на

минутку, ни на самое короткое мгновение». Впрочем, Татьяна и сама не собиралась от меня отходить, раза два отказала бородачам, мол, приглашена, а потом, видя, что отбоя не будет, увлекла меня в какую-то темную комнату, в которой жили ее подруги, но в этот вечер подруги тоже гуляли на свадьбе, и комната пустовала, света я не стал зажигать, схватил Татьяну на руки, опустил на кровать и осыпал поцелуями лицо и шею.

— Женимся! Конечно, женимся! — потеряв голову, яростно бормотал я. — И совершенно немедленно! Завтра же! Нет, зачем завтра? Сегодня! Сейчас!

— Не надо, Витя, — шептала Татьяна. — Мы поженимся. И это будет. Обязательно. Потерпи до свадьбы.

Утром я уезжал в командировку. Накануне получил командировочное удостоверение и деньги, и можно было не заходить в редакцию, но по дороге на вокзал, уже с рюкзаком, я зачем-то зашел, и в ту же минуту раздался телефонный звонок.

— Витя! — произнесла Татьяна.

— Таня! — сказал я.

— Витя!

— Таня!

— Это правда, что ты вчера говорил?

— Правда.

— Можно маме сказать?

— Скажи и маме и папе! Всем объяви!

— Ты на десять дней?

— На десять.

— Приезжай быстрее.

— Не задержусь.

В город я вернулся ночью. Татьяне звонить не решился. Утром пришел в редакцию. Не успел снять пальто, как на меня налетела Сталина и принялась колотить по спине кулачками.

— Хорош друг! Нечего сказать! Свадьба на носу, а он — ни гугу, ни словечка! — будто бы шутя выговаривала Сталина, а у самой в глазах стояли слезы, и удары сыпались совсем не шуточные — аж спина гудела.

— Какая свадьба? Что ты мелешь? — изумленно спрашивал я, отворачиваясь от ее сухих и звонких, как кастаньеты, кулачков.

— Ах, еще будешь притворяться, что ничегошеньки не знаешь. На вот тебе, на!

— Я ночью приехал.

— Ах, ночью! И зачем же ты в редакцию пришел? Тебя в директорском особняке на Песчаной ждут не дождутся. Жарят, парят, машинами снедь подвозят. На послезавтра свадьба объявлена.

— Брось трепаться! — рассердился я. — Какой еще директорский особняк?

— Ты, что, дурачок, в самом деле ничего не знаешь? Или только прикидываешься?

— Ни сном, ни духом...

— Вот так-так! — в свою очередь изумилась Сталина.— Без тебя тебя женили! Во-первых, знай: твой будущий тесть — директор завода. Не большого — но все-таки завода. Это не фунт изюма! А во-вторых, послезавтра свадьба. Не знаю, уж как ты договаривался со своей красулей, но она тут времени зря не теряла... Любопытство разобрало, не поленилась, сходила в институт. Губа у тебя не дура: по всем статьям директорская дочка. Не нам с рабоче-крестьянским происхождением чета...

— Знаешь, Сталя, это уже попахивает злостью.

— Сенсация: бедный, но подающий надежды газетчик женится на аристократке, — не унималась Сталина, но тут же осеклась, прикусила губу и грустно добавила:— А я ведь в самом деле злюсь, хоть, в общем-то, ни на что и не рассчитывала. Извини меня, бабу. И ни пуха

тебе, ни пера. Валяй! Будь счастлив! Ну, а мы, как и прежде, — коллеги. Жаль только в дурачка больше не придется сыграть.

Я был ошеломлен и «директорским особняком», и скоропалительной свадьбой — не то чтоб раньше не верил в нее, а просто не ждал, что она так быстро нагрянет.

У нас было заведено: возвратясь из командировки, зайти к редактору, поделиться впечатлениями. На этот раз я решил пренебречь неукоснительным правилом и сразу же бежать на Песчаную. Но вовремя не успел убраться. В дверь просунула голову девочка-рассыльная и попросила меня пройти к ответственному секретарю.

— Вот, пожалуйста, заберите, — сказала Манефа, протягивая рукопись, в которой я узнал свой очерк, сданный в секретариат накануне отъезда: в глаза Манефа не смотрела и не картавила, четко выговаривала «р», что с ней случалось только от сильного волнения.

— Но почему? — обиженно спросил я, перелистывая машинописные страницы и не находя никаких пометок.

— То есть как почему? — Манефа подняла глаза и ядовито усмехнулась. — Плохо написано. Теперь понятно? Неинтересно, серо, вымученно, без всякого стиля. И вообще я должна сказать: вы разочаровали меня, не растете, топчетесь на месте. Если в первые дни это нас устраивало, то сейчас нет. Слышите, нет!

— Помилуйте, Манефа Казимировна, — оскорбился я. — Когда бы я успел вырасти, если в газете без году неделя?

— Не неделя, а полгода. Да за этот срок со способностями и старательностью знаете куда можно уйти — не догонишь! Насчет ваших способностей я сильно преувеличивала. А старательности — никакой. Не тем занимаетесь. Танцулечки, кинулечки, шерочки, машерочки! Насквозь вижу!

«Ага, вон откуда ветер дует», — наконец понял я и перестал обижаться на Манефу — сама, видать, обижена.

— Прикажете очерк переделать? — спросил с подковыркой.

— Прикажу — в корзину! Нечего там переделывать. Да и фигура для очерка не та — мелкая и невзрачная.

— Но фигуру мне предложили на летучке. Помнится, и вы там были.

— Не помню. Я все сказала, и не мешайте работать.

В другой раз этот нелепый разговор повергнул бы меня в глубокое уныние, а теперь, едва прикрыв за собой дверь, я начисто обо всем забыл: и о разговоре, и о самом очерке, будто никогда и не писал его, не ломал голову над судьбой героя, не вбивал, точно молотком, неподатливые слова. Мои мысли были на Песчаной.

С Татьяной я познакомился в феврале. Тогда все время снежило большими хлопьями, мело по дорогам и с комсомольской свадьбы мы брели через сугробы, промокли до колен. Теперь на дворе стоял март. В командировке меня прихватила первая оттепель, а в это утро таяло уже вовсю: гремело в водосточных трубах, капало, звенело, падали сосульки, разбиваясь об асфальт в зеленые брызги, резко и слепяще било изо всех луж солнце. Ах, какой был денек, в самый раз — жениться!

Ночью, когда провожал Татьяну со свадьбы, я не разглядел ее дома — не до того было, и сейчас при одном виде особняка мне стало не по себе: белый, каменный, высокий, опоясанный с двух сторон застекленной верандой, под крышей — летняя мансарда с балконом. Со всех сторон дом был обнесен легким штакетником, за которым стояли деревца. От калитки до веранды — дорожка, посыпанная золотистым речным песком.

В смущении я топтался перед калиткой и не знал, что делать: то ли открывать ее и, набравшись храбрости,

шагать по дорожке к раскрытой настежь двери на веранде, за которой виднелась обитая серым войлоком другая дверь, уже в сам дом, то ли повернуться и бежать обратно в редакцию.

«Если и заварили тут кашу, — раздосадованный собственным малодушием, думал я, — без меня никак не расхлебают. Позовут, позвонят, разыщут».

И я бы скорее всего убежал, если бы в дверной раме на веранде неожиданно не объявилась Татьяна. С возгласом «Наконец-то!» она спрыгнула на дорожку, распахнула калитку и ткнулась носом в мою щеку. Татьяна была вся новая, домашняя какая-то — в белом клеенчатом переднике с красными, в складочку, оборками по краям, в тапочках, волосы собраны в узел на макушке, только у висков вились светлыми свободными прядками; мне понравилось, что в тапочках она чуть пониже меня.

Татьяна взяла меня за руку и повела в дом.

В прихожей нас встретила высокая осанистая женщина во фланелевом халате.

— Знакомьтесь, — выдохнула Татьяна. — Моя мама. Анна Семеновна. А это Витя.

— Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что за зятя привела,— Анна Семеновна вытерла о халат мокрые ладони, властно взяла меня за плечи и повертела туда-сюда, строго оглядывая.— Вроде бы ничего зять, без изъянов. По крайней мере с первого взгляда.

— Мама! — прикрикнула Татьяна.

— Что мама? До поры до времени не знакомите...

«Неужели моя Танька с годами станет такой же бесцеремонной? Говорят же: хочешь представить жену в будущем — посмотри на тещу», — удрученно думал я и успокаивал себя тем, что Татьяна нисколько не походила на мать даже внешне. Мать была темноликой, а Татьяна — беленькой.

В прихожую со всех сторон открывались двери, через которые виднелись шкафы, ковры, стулья... Комнаты, комнаты. В этот раз мне показалось их десятка полтора, хотя на самом деле было всего четыре, да еще где-то в глубине квартиры кухня, из которой сейчас наплывали запахи лаврового листа и лука.

Анна Семеновна скоро оставила нас вдвоем. Мы зашли в одну из комнат и сели на диван.

— Знаешь, Витя, — смущенно произнесла Татьяна, — я, верно, без тебя поторопилась... Послезавтра свадьба, — и она замолчала, дожидаясь, что я скажу на это, но я ничего не говорил, и у ней от обиды задрожал голос.— Ну что ж, можно и перенести. Или вообще отменить, пока не поздно... В маме все дело. Такая чудо-юдо-рыба-кит! С высшим образованием, а верит всякой чепухе. Через несколько дней начинается пост, великий еще какой-то, и, по традиции, в пост, говорит, замуж выходить нельзя. Можно, конечно, но, говорит, брак будет несчастливый. Кончится этот пост только к маю, почти два месяца ждать.

Татьяна вздохнула, а я рассмеялся.

— Ты что? — еще больше обиделась она.

— Ну и хорошо, что пост. Значит, женимся послезавтра.

— А сегодня знаешь какой день? — уже повеселев, лукаво прищурилась Татьяна.

— Не знаю.

— Евдокия Плющиха. У меня бабку зовут Евдокией, сегодня именинница... Видишь, какая я просвещенная. Правда, на улице плещет?

— Плещет. Со всех крыш. И снег плющится. Настоящая плющиха.

— Завтра можно в ЗАГС сходить... Расписаться.

— Неужели это так быстро делается?

— Не совсем, — вспыхнула Татьяна.— Но я сразу же после твоего отъезда подала заявление, и завтра нас распишут.

— Умница!

— А ты думал?

Я придвинулся к Татьяне, обнял ее за плечи, но она тут же вывернулась из моих рук и, боязливо оглядываясь на дверь, вскочила на ноги.

— Некогда, Витя... Весь дом еще надо прибрать. — Она показала на влажную тряпку, лежащую комком на столе. — Тебе ведь тоже есть чем заняться. Друзей позвать...

— Да, да, — спохватился я и стал перебирать в памяти, что мне предстояло сделать за последние два дня моей холостяцкой жизни. В первую очередь надо было найти квартиру. В комнатушку, которую я снимал на окраине города, Татьяну я привести не мог: кроме меня, в ней спал еще хозяйский сынишка — школьник. Могли предложить и остаться в Татьянином доме, но этот вариант я отвергал заранее. Какой же я мужчина, если самостоятельно не обеспечу свою семью сносным жильем... Потом о деньгах следовало подумать. Свадьба-то стоит немало, а у меня почти никаких сбережений. Все лишнее отсылал сестренке, которая училась в университете.

Рассказал Татьяне о своих заботах.

— С квартирой успеется, — рассудила она. — Неделю-другую поживем здесь. И о деньгах не хлопочи. Пусть старики раскошелятся. А твои деньги нам еще пригодятся.

Хотелось спросить о своих родителях — надо ли их приглашать на свадьбу. Хотя бы маму? На самолете еще успеет прилететь. Но не осмелился, потому что, устраненный от всяких хлопот и затрат, не чувствовал свадьбу своей: будто женился кто-то другой, а не я, и

я на ней буду лишь гостем. Вот если бы Татьяна сама заговорила об этом, тогда иное дело. Но у ней от своих забот голова шла кругом — не заговорила. Ладно, не последний день на свете живем, еще познакомятся. Татьяне, слава богу, я успел раньше поведать, что старики у меня из простых. Она со смехом ответила: и ее недалеко ушли.

Два дня я крутился, как белка в колесе: добывал деньги — хоть Татьяна запретила это делать, бегал в поисках подходящей квартиры по объявлениям, сходил с чемоданом за вином, напоследок заглянул и в редакцию, чтобы пригласить на свадьбу сослуживцев: редактора, Сталину и своего литсотрудника Саню Мутовкина, прозванного за короткую квадратную фигуру Кубом. И до того, верно, умучился от этой беготни, что на самой свадьбе был без вина пьян. Лица расплывались. Даже Татьянино лицо, совсем рядом, порой казалось плоским разноцветным пятном. Может, это от счастья?

Гостей не в пример комсомольской свадьбе было совсем немного: пять или шесть Татьяниных подружек, да с моей стороны четверо — Куб пришел с женой. Никаких бородачей. До самого последнего момента ждали Татьяниного научного руководителя профессора Баженова, но он так и не появился.

Подарки не демонстрировались, гости смущенно рассовали их по углам, словно не уверены были, понравятся ли, только Иван Гордеевич, редактор, объявил о своем вслух — ордер на комнату в редакционном доме, ту самую, с узким окном, в которую уже через несколько дней мы с Татьяной привезли наше первое совместное приобретение — кровать из комиссионного магазина.

Анна Семеновна называла свадьбу ужином. «Наш скромный ужин».

В начале этого ужина произошла маленькая замин-

ка. Только все расселись за столом, как в прихожей заскрипел слабый старческий голос: «Слышала, внучка выходит замуж. Где же ее жених? Хоть одним глазком взглянуть!»

Я поворотился к Татьяне, спрашивая взглядом, надо ли идти представиться бабушке? Но она будто ничего не слышала. Тогда из-за стола выбрался Сергей Иванович, Татьянин отец, вышел в прихожую, и оттуда донесся уже его голос, приглушенный, сдержанно-повелительный: «Пойдем, пойдем, мамаша. В другой раз посмотришь». Потом где-то в отдалении щелкнул дверной замок.

Закончился вечер тем, что Куб мой упился и свалился под стол. Ночевать его можно было оставить в директорском особняке — места хватало, но этому воспротивилась жена Куба, Валя, и вместе с ней мы повели его домой.

Наконец, в середине ночи я избавился от всех забот и остался совершенно один. На весеннем темном небе холодно и ярко горели звезды. Подмораживало. Но с крыш все еще помаленьку капало. Под ногами звенела, раздавливаясь и оседая, ледяная корочка. В одиночестве я стал приходить в себя. Туман, застилавший глаза, как бы рассеялся. И вдруг вместо ожидаемой радости я ощутил в груди горьковатую пустоту. Откуда она накатилась?

Уходя из дома, я видел, как Анна Семеновна застилала для нас с Татьяной диван. Белье было новенькое, в жестких складках. Татьяна теперь уже в постели, ждет меня. Я приду и лягу рядом... Господи, как все на свете просто!

Эта простота пугала, отталкивала. Даже в дом не хотелось возвращаться. У калитки я пристроился на обледеневшей скамейке и стал ждать — авось пройдет душевная слабость, с новой силой вспыхнут любовь и же-

ление, и тогда все будет хорошо. Холоднее разгорались звезды на небе. Со всех сторон потрескивал, оседая, наст.

Долго ли, коротко ли так просидел — передо мной вдруг выросла коренастая фигура Сергея Ивановича в пальто внакидку. Он молчал. Насколько я успел его узнать, он вообще был человек крайне сдержанный и малоразговорчивый. В предсвадебные дни даже не поинтересовался, кто я, что и как думаю, словно ему было все равно, за кого выдавать замуж свою дочь. А может, считал вполне достаточным, что мною уже поинтересовалась жена. На этот раз в его молчании чувствовалось некоторое раздражение. Не сказав ни слова, он с минуту постоял против меня, повернулся и, придерживая изнутри полы пальто, зашагал к крыльцу. Я поплелся следом.

Нет, это не была еще любовь.

Для любви, как я теперь понимаю, нужно время. И со временем она пришла ко мне, и об этом тоже можно было бы поведать, но, к сожалению, повесть моя не о радостях любви, о которых всегда так весело писать, а совсем о другом. Потому в этой главе была как бы запевка, а сама повесть начинается с иной поры — пять лет спустя.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Ночью на город обрушилась гроза. Взрывалось, грохотало, раскатывалось, словно совсем рядом валились наземь, рассыпаясь, громадные здания. Малиновым и голубым озарялась темнота. Звенели стекла. Мы с Татьяной враз сели в кровати и подумали об одном и том же: бомбы, ракеты... Надо же прийти в голову такой чепухе, но она пришла и до смерти перепугала нас, слабонервных детей двадцатого века.

На улице, в палисаднике, рухнул огромный старый тополь.

Я скинул с постели ноги и ощупью пробрался в темный угол, где стояла детская деревянная кроватка. Голубой сполох на мгновение осветил спящую Маринку. Она лежала навзничь, повернув набок голову и раскинув пухлые ручки, мирно посапывала коротким носом, и весь шабаш за стеной ей был нипочем.

Потом гроза внезапно оборвалась. Не укатилась, прогромыхивая, за горизонт, а именно оборвалась, будто кто отключил ее рубильником. И сразу стало слышно, как самозабвенно, густо, обильно хлещет за окном дождь.

Окно было раскрыто настежь, висела на нем от мух марля, и через эту марлю потянуло таким свежим целительным воздухом, что я тут же, вернувшись в постель, погрузился в дремуче-мягкое, блаженное забытье.

Когда проснулся, тело еще помнило о благостной ночной грозе, каждой клеточкой радовалось жизни, легкости, наступающему утру.

Что было за утро! Старый тополь не заслонял больше окна, и теперь через него яростно вламывалось умытое грозой солнце. В ячеях марли сверкали изумрудные дождевые капли. Пахло парной землей и грозовыми разрядами.

А рядом лежала Татьяна, моя высшая доблесть. И во сне ни чуточку не убыло от ее прелести — все такая же чистая, свежая, прохладная.

В свое время, помнится, я никак не мог слить воедино Татьяну и ее будущую профессию. В голове не укладывалось: маменькина дочка, холенка, тряпичница, которая и в институт-то ходила, как на бал, и вдруг где-то в тайге... с рюкзаком... и вместо платья на ней помятая энцефалитка, вместо изящных лодочек на шпильках — рабочие ботинки или, еще хуже, пудовые болот-

ные сапоги. Но я увидел ее и такой. Правда, не скоро. После института она поступила в аспирантуру, потом родилась Маринка... Только на третий год Татьяна впервые собралась в поле, и я убедился, что и ботинки и высовывавшиеся из них белые шерстяные носки, и брюки, и стеганая чешская куртка, и вязаная шапочка тоже ей к лицу. Вот только с рюкзаком я ее не видел. Рюкзак обычно до самого самолета тащил на себе.

Вообще мое представление о Татьяне с течением времени сильно переменилось. После одного из своих выездов в поле она вернулась домой «маршалом» — открыла железорудное месторождение. «Полем» геологи называют всякую местность — тайгу, горы, топи, куда выезжают на летние работы. Татьянино месторождение находилось в Саянах. На основе своего открытия она подготовила диссертацию. Через неделю — защита. Без пяти минут — кандидат наук. Это уже не шутки!

Иной раз я спрашивал себя: что это? Везенье? Слепая удача? Или естественный результат старания, трудолюбия, напряжения воли? И обычно склонялся к последнему выводу, ибо чего-чего, а характера, настойчивости, даже некоторой хватки Татьяне не занимать. Как мы очутились в этом раю? — вспомнил я про новое жилье и не утерпел, поднялся на локте, снова оглядел его, желая удостовериться, что все это не сон, не выдумка, а настоящая явь: широкое, в две створки окно, дверь в другую комнату, еще с двумя окнами, через которые в это утро тоже ломилось солнце.

Два месяца назад в Москву на повышение уезжал замредактора. Освобождалась квартира. Татьяна пристала: иди, проси, доколь жить в одноглазом скворечнике? Я наотрез отказался, зная, что на квартиру претендует Куб и еще пять или шесть редакционных работников, скитающихся по частным углам. Тогда Татьяна взя-

лась за дело сама. Прихорошилась, приоделась и отправилась к редактору. Как там было — не знаю, не рассказывала. Могу только представить: села подальше от стола, чтобы Иван Гордеевич имел возможность всю ее видеть, закинула ногу на ногу, достала из сумочки сигарету — вон, мол, какая, а живет черт знает где... Во всяком случае вскоре мы перебрались сюда, а наш скворечник занял Куб.

Я положил голову на подушку, повернулся к Татьяне, засмотрелся на ее лицо, и в эту минуту мне уже ничего не надо было от жизни, кроме того, что имел, — ни собственных книг, ни известности, ни славы. Я весь с краями был полон своей женой, ее делами.

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Татьяна, почувствовав мой взгляд, пошевелила ресницами, открыла глаза, и они были такие же чистые, ясные, как и вся сама, — точно и не спала, а лишь притворялась спящей.

— Ты что? — спросила она.

— Пора, — сказал я. — Не забыла про школу?

— А это обязательно?

— Конечно. Ребята предупреждены. Будут ждать. Потом и школа твоя, и не куда-нибудь они едут, а опять же на твое месторождение.

Как только мы заговорили, в углу, где стояла деревянная кроватка, послышалось шевеление, и еще через минуту над спинкой кроватки показалась круглая пушистая головка Маринки. Маринка терла кулачками глаза и, не видя нас, уже улыбалась — такая приветливая девочка. Я подошел к ней.

— Ну, Маринка, пойдем умываться.

— Дя, — согласилась она.

Я подхватил ее под горячую тугую попку, унес в ванную, где для порядка осведомился:

— Может, сначала на горшке посидим?

— Дя, — снова согласилась она.

Вытащив из-под ванны эмалированный горшок, усадил на него Маринку, а сам открыл кран и подставил под холодную струю шею. За спиной раздался грохот. Оглянулся. Горшок валялся у стены, а Маринка, раскинув руки и приподняв голову, голеньким животом лежала во всю длину на кафельном полу. Я схватил ее на руки.

— Бо-бо, — сказала Маринка.

— Бедная девочка...

— И не бедная. Козлик бедный.

— Вот как! Почему же он бедный?

— Остались ложки да ножки.

— Ну, и правильно. А у нас все целехонько — и ножки, и ручки, и папа, и мама. И мы не бедные.

— Неть, — подтвердила Маринка.

Чудесный разговор получился у нас с дочерью.

Древний тополь, разнеся в щепки палисадник, упал поперек улицы.

Листва на нем была еще живая и мокрая. Сахарно блестели на изломах сучья. Дерево переломилось у самого корня, где оно выгнило в середке до черной вонючей пустоты.

Из соседних домов сходились к нему дворники — в белых передниках, брезентовых рукавицах, с пилами и топорами. Двое пришедших пораньше уже разделывали толстый растрескавшийся комель. Мягко, как по пробке, ходила пила. На омытый асфальт сыпались коричневые гнилые опилки. Пахло горьковатой корой.

Мы обошли дерево с вершины. На одной руке я держал Маринку, в другой — плащ с отвисшими карманами, в которых лежало все мое командировочное снаряжение: записная книжка, мыльница, зубная щетка, паста, полотенце... Татьяна, в белом платье, голорукая, помахивала легонькой сумочкой.

Все в это утро было чистым, свежим, ярким — голубое небо над головой, трава на газонах, самое солнце. А вода в лужах, отстоявшаяся за ночь, казалась прямо-таки родниковой — припадай и пей. Над мокрыми крышами и асфальтом струился золотистый пар.

На перекрестке нас догнал Куб. Непричесанный, лохматый, с веселыми за стеклами очков глазами. Он забежал вперед и ухватил Татьяну за руку. Истово подергал, потряс. Потом то же самое проделал с моей рукой, и все его большеносое губастое лицо радовалось, будто мы не виделись сотню лет — такая уж у него была азартная манера здороваться.

Татьяна вытащила из сумочки большую женскую расческу и протянула Кубу:

— Причешись.

А я повернулся к Маринке и спросил:

— Ну-ка, скажи, Марина, кого ты любишь?

Марина лукаво сощурилась и сказала:

— Мутовкина.

— Почему Мутовкина?

— Он класивый.

Шутка была не новой, однако мы рассмеялись, а Маринка, словно понимая, что сказала что-то необыкновенно остроумное, — громче всех. Этой шутке ее никто не учил. Месяц назад я вот также спросил, кого она любит, надеясь услышать в ответ «папу» или «маму», а она вместо нас назвала Мутовкина и объяснила: «класивый»... Ну что ж, устами младенца глаголет истина.

Мы занесли Маринку в детский сад, а сами направились в школу.

На широком школьном дворе, посыпанном черным шлаком, с тополями и акациями вдоль глухого забора, с горой поломанных парт, с бочками краски — в школе начался летний ремонт — уже стоял голубой автобус, и у бетонного крыльца, густо забрызганного известкой, толпились отъезжающие ребята и их родители.

Непросохший шлак дымился, в тополях гомонили воробьи, в стеклах автобуса полыхало солнце. В кабине стекло было опущено, и в окне на скрещенных волосатых руках лежала голова шофера с помятым после воскресенья лицом.

Когда мы подошли к крыльцу, ребята улыбнулись нам с Кубом, как старым знакомым, но тут же забыли про нас и с любопытством уставились на Татьяну, догадавшись, что она и есть первооткрывательница месторождения, на освоение которого они сегодня улетали.

Я пересчитал ребят, и у меня упало сердце: всего пять человек. Неужели больше никто не подойдет?

Директор школы Парфенова, провожавшая на стройку и свою дочь и от волнения потерявшая обычную директорскую замкнутость, заметила растерянность на моем лице, развела руками и неуверенно сказала:

— Подождем. Время терпит.

Еще зимой меня вызвал к себе Иван Гордеевич и поделился заботой в областном масштабе. Школы области в этом году выпускали на волю восемь тысяч человек, а вузы и техникумы могли принять лишь половину. И в моем отделе надо было подумать, как и где ребятам устроиться.

Мы с Кубом поездили по предприятиям. На многих могли принять молодое пополнение хоть сейчас: там некому было сколачивать тару, в другом месте требова-

лись подсобники, в третьем — ученики к мастерам. Выслушивая эти заявки, я мрачнел. Неужто так уныло и скучно предстоит ребятам начинать взрослую жизнь? Ну, а что придумаешь другое? Поживее, поинтереснее? И вдруг вспомнил про Татьянино месторождение. Там уже работала комплексная экспедиция. Минимальные запасы руды были определены в восемьсот миллионов тонн, и с дальнейшей разведкой они еще росли. К месторождению пробивалась дорога. В скором времени собирались строить рудник. Вот настоящее дело!

С помощью Татьяны я залучил в редакцию появившегося на несколько дней в городе начальника экспедиции Приходько. Это был высокий — под два метра, светловолосый и юный на лицо парень. О, работы у него завались! — уверенно заявил молодой начальник. Можно везти целую школу — всем хватит. С первых же слов я почувствовал расположение к этому похожему на младенца гиганту, а когда он еще согласился сходить со мной в ближайшую от редакции школу и выступить перед десятиклассниками, то уже совсем души в нем не чаял. Золотой человек! Приходько не блистал красноречием, но слушали его, затаив дыхание. Даже для моего уха колдовской музыкой звучали слова: тайга, горы, палатки, разведка... Когда Приходько умолк, в классе поднялся невообразимый шум. И я понял — затея удалась. И в самом деле удалась: тут же всем классом решили после окончания школы ехать на стройку. Сбившись над партой в кучу малу, ребята составили письмо в газету, в котором рассказали о своем решении и призывали других выпускников области последовать их примеру. Под письмом стояло семнадцать подписей.

Семнадцать. А на школьный двор, к автобусу, явились только пятеро. Сестры Кудрины, Маша и Ирина, Володя Байков, Гриша Устюгов и Вера Парфенова. Всех

их я знал довольно хорошо. Ведь письмо было написано в середине зимы, и после, чтобы ребята не забыли о своем намерении или, чего доброго, совсем не передумали, я частенько наведывался в их класс, подружился, а весной даже ездил с ними на велосипедах за город.

В жизни сестер Кудриных большую роль играл отец, городской военком. Сейчас он стоял рядом с дочерьми, смоляно-курчавый, тонкий в талии, туго перепоясанный по темно-зеленой гимнастерке широким ремнем, больше похожий своей выправкой и худощавостью на молоденького лейтенанта, чем на полковника. Он был из цыган, в детские годы кочевал с табором, да и позже, в армии, его жизнь, верно, мало отличалась от таборной — те же переезды, палатки, землянки, и теперешний городской образ жизни давался ему с превеликим трудом. Весной на удивление всему городу и на конфуз жене он разбивал перед своим многоэтажным домом, в чахлом скверике, палатку и спал в ней до самых заморозков. Кудрин считал полезным, чтобы и дочери его, прежде чем поступать в институт, года два пожили на природе. Учение не убежит, было бы здоровье да желание. Как раз здоровья одной и не хватало — Маше, старшей. В восьмом классе она целый год проболела, ее догнала Ирина, и школу они закончили вместе.

Старшая — полновата, малоподвижна, а Ирина вся в отца — тоненькая, бойкая, с тяжелыми черными косами за спиной, настоящая цыганка, и Кудрин то и дело бросал на нее горделивый взгляд — его кровь!

Володя Байков, не по годам рослый, широкоплечий, ехал потому, что ему так и так надо было начинать где-то работать. Учился он плохо, на выпускных экзаменах тянули всем классом, учителя тоже тянули, зная, что едет на ударную стройку.

А вот Гриша Устюгов окончил школу с медалью и

мог бы поступить в любой институт. Это был тихий, внутренне сосредоточенный мальчик, искренне убежденный в том, что жить он должен не для себя, а только для общества. Гришина мать, школьная уборщица, верно, не разделяла молодых убеждений сына и, прячась за его худенькой спиной, нет-нет да и вытирала уголком штапельной косынки покрасневшие глаза.

Долгое время Гриша сам не знал — ехать ему или не ехать. Письма он не подписывал. Однако от нашей компании не отставал. Бывал и на прогулках. А там мы только и говорили — о лете, о таежной стройке. И я подмечал — мучится чем-то парнишка. Однажды он озадачил меня вопросом: что характернее для его поколения — стройки, целина, дороги или студенческая скамья? Боясь, как бы ненароком не сломать судьбу мальчика, я осторожно ответил: то и другое. Но Гриша вот решил по-своему и сейчас, в черной косоворотке, подпоясанной ремешком, в вылинявших брючках, стоял на школьном дворе вместе с теми, кто уезжал в тайгу.

Вера Парфенова, дочь директрисы, ехала потому, что ехал Гриша. Я уже давно догадывался: так оно и произойдет.

Весной, в одну из воскресных прогулок, мы случайно попали на полевой стан. Колхозники, приняв нас за агитбригаду, потребовали концерт. Мы это могли. Ирина пела, Вера и Гриша умели читать стихи, кто-то отбивал чечетку... Не хватало лишь какой-нибудь живой сценки. Ребята тут же ее придумали: паренек и девушка сидят в парке на скамейке, он предлагает пойти на футбол, она — в кино, ни один не хочет уступить другому, в конце концов ссорятся; паренек уходит, а расстроенная девушка вешает свою сумочку на руку статуи физкультурника; статуя вдруг оживает, ест горстями из сумочки конфеты. Вот эту сценку и собрались показать колхозникам. Гриша

согласился изобразить упрямого паренька. Роль девушки предложили Вере, но она вдруг зарделась вся, гневно вскинула головку и категорически заявила:

— Нет, нет! И не упрашивайте! Концерт провалится? Ну и пусть проваливается! — и внезапно сорвалась с места и побежала в березовый лесок, зеленевший рядом с полевым станом.

— Что с ней такое стряслось? — спрашивал я. Ребята виновато прятали друг от друга глаза и молчали. Гриша побледнел и замкнулся. Наконец догадался и я: ребята по забывчивости, по неосторожности предложили Вере роль, в которой ей пришлось бы изображать себя, свое чувство, тайное, ранимое.

...На дворе больше никто не появился. Дальше ждать не имело смысла.

Директор сказала:

— Начнем, пожалуй.

Она собралась было подняться на крыльцо, но потом передумала, махнула рукой и, повернувшись к недавним своим ученикам и их родителям, проговорила дрожащим голосом:

— Дети, ну вот вы и улетаете...

С собранными на затылке тяжелыми, в проседи, волосами, с мягкими расстроенными чертами лица, Парфенова в эту минуту была больше матерью, провожающей в первую дорогу дочь, чем директором, и ей, верно, хотелось говорить простые слова, но в руках откуда-то появилась бумажка, и, заглянув в нее, она уже продолжала по ней:

— Вы едете не просто строить. Едете продолжать дело старших товарищей... Ныне известно: Шамансукское месторождение открыла молодой ученый Татьяна Сергеевна Красовская. Может, не все знают, я напомню: Красовская — выпускница нашей школы. Мы, учи-

теля, хорошо помним нашу Таню. Ее трудолюбие, принципиальность, честность. Мы убеждены: если бы она заканчивала школу вместе с вами, то обязательно поехала бы на такую стройку... Дорогие мои... Провожая вас в самостоятельный путь, я желаю одного: будьте достойны нашей Тани, берите с нее пример, приумножайте славные традиции школы...

Куб торопливо записывал в блокнот. Почерк у него всегда-то был размашистый, а сейчас, в спешке, он махал просто аршинными буквами: три-четыре слова — и страничка заполнена, и эти странички так и щелкали в его руках. Парфенова еще говорила, когда Куб, оторвавшись от работы, подтолкнул меня под локоть и сказал вполголоса:

— Ну, твоя песенка спета.

— О чем ты?

— Смекай! — Куб покрутил пальцем возле виска, перечеркнутого черной дужкой очков. — Раньше-то как мы вас величали? Все Козловы да Козловы. «Мы у Козловых собираемся». «С Козловыми в театр идем». Теперь придется сменить пластинку. Танька своей фамилией затмила твою. Это факт! И надо уже говорить: не у Козловых собираемся, а у Красовских, с Красовскими идем в театр, с Красовскими — в кино, с Красовскими — в ресторан... Кстати, не расписаны, что ли?

— Почему же?

— А разные фамилии?

— Не захотела менять.

— Простофиля! Теперь и кусай локти. Видишь, как рискованно оставлять женам их девичьи фамилии. Прославятся — и мы в стороне. Лучика их славы не падает на нас. Так-то!

— Из зависти наговариваешь.

— Завидую, — смиренно признался Куб.

Парфенова тем временем закруглила свою речь и повернулась к Татьяне.

— Прошу вас, Танечка, скажите несколько слов...

Татьяна не заставила себя упрашивать. Уверенно прошла к Парфеновой, сняла ладонью со щеки волосы и одарила стоявших во дворе широкой улыбкой. В ее уверенности было что-то от тех белокурых звезд с победительными улыбками и ослепительно белыми зубами, которые так часто печатаются на обложках иностранных журналов. Я поморщился: могла бы и попроще. Но рассказывала она интересно.

...Только что возникший изыскательный поселок, куда едут ребята, называется Шамансук. «Сук» — это река. В переводе с тюрского. А Шаман? Есть там такая гора с голой желтой вершиной и черными от кедровников склонами. И точно, она похожа на что-то такое, религиозное — не то на шамана, не то на монаха с выстриженной на голове тонзурой. Сейчас на Шамансук из Уганска строится дорога. Сто двадцать километров. Говорят, вчерне она уже готова, и ребята по ней прокатятся с ветерком. А Татьяна в свое время добиралась туда чуть ли не целую неделю. С ней был небольшой поисковый отряд — четверо студентов-практикантов...

Как она открыла месторождение? В одной из работ своего учителя Глеба Кузьмича Баженова она нашла указание на то, что в районе речки Шамансук должны существовать целые зоны орудения. Татьяна вызвалась проверить догадку ученого. Более того, эту проверку она взяла темой своей диссертационной работы. Шаг был очень рискованный. Не откроешь месторождение — никакой диссертации. Откроешь — и она возвращается домой... маршалом. Геологи, вроде наполеоновских солдат, в заплечных мешках носят с собой маршальский жезл, то есть никогда не теряют надежды на большую удачу.

Татьянины надежды сбылись: нашла, диссертацию подготовила, кстати, в следующий понедельник уже защищает ее.

Однако не надо думать, что все это было очень просто: пришел, увидел, победил. Нет, совсем не так. Район совершенно безлюдный. Между Уганском и Шамансуком — никаких поселений. Существовал некогда прииск Нежданный — золото мыли, но и тот давно закрыт. Горы, тайга, бурные реки, топи. Снаряжение везли во вьюках. Лошади то и дело падали. Поднимали их за хвосты. Сами поиски проходили на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря. Трава не растет. Земля в метр покрыта мхом. Под ним и летом не тает лед.

...Однажды на студента Митю Колоска спрыгнула с дерева рысь. Хорошо, топор нес в руке. Махнул им через плечо, и рысь с пробитым черепом упала к ногам...

Признаки орудения они обнаружили только осенью, восьмого сентября. В этот день в горах начались снегопады. А двенадцатого сентября, уже по глубокому снегу, нашли коренные обнажения магнетитовой руды...

Но снег, тайга, мхи, рыси — полбеды. Самые большие трудности возникали по вине бюрократов из Уганска. В Уганске еще с дореволюционной поры существует железный рудник, при нем — геологическая служба. Когда дирекция института направляла туда поисковый отряд, она предварительно договорилась с начальником этой службы, неким Крапивиным, что тот полностью снабдит отряд полевым снаряжением — из города чтобы не везти, и в остальном поможет. Но Крапивин не только не помогал, а, наоборот, как мог, мешал отряду. Не хотелось начальнику, чтобы кто-то другой, из другого ведомства открывал на его территории новые месторождения. Около месяца использовал отряд на проверке заведомо бесперспективных заявок, а когда наконец вы-

пустил его на Шамансук, то, считай, ровным счетом без ничего. Приходилось в самый разгар бросать работу и ехать за продуктами. А во время снегопадов люди оказались без палатки, с тремя тонкими байковыми одеялами на четверых...

Если вначале Татьяна говорила спокойно, деловито, то под конец голос ее зазвенел от гнева. Эта неожиданная запальчивость меня крайне удивила. Но еще больше удивило то, что я впервые услышал о Крапивине. Наверно, давно уже, как заноза застрял в ее мозгу — и ни словечка мне, мужу! Странно! А вот ребят как раз не стоило посвящать в подобную историю.

Татьяне хлопали.

Куб без устали махал авторучкой — точно забор красил малярной кистью. Потом он спрятал блокнот, пожал мне руку и побежал в редакцию — сдавать в номер репортаж о проводах. Татьяна тоже попрощалась — спешила в институт.

Мы вошли в автобус. Шофер поднял голову, вполоборота посмотрел на нас мутным вопрошающим глазом, будто силился что-то вспомнить, включил газ, и автобус медленно пополз за ворота.

Шамансукская экспедиция заказала для ребят специальный самолет. Он стоял на краю летного поля с распахнутой дверцей и железным трапом под ней. В последнюю минуту Гришина мать не выдержала, заревела в голос. Парфенова, тоже сникнув, мяла в кулаке носовой платок. Лишь Кудрин держался как ни в чем не бывало. С белозубой молодой улыбкой он похлопал по плечу сначала младшую дочь, потом старшую и легонько подтолкнул их на бурое выгоревшее поле.

Я шел на посадку последним.

Ребята были одеты в трикотажные и фланелевые костюмы, в которых ходили еще на занятия физкульту-

ры: Гриша — в короткие заплатанные штаны; к рюкзакам примотаны сверху такие же старые школьные пальтишки.

Глядя на их снаряжение, я вспомнил, как десять лет назад уезжал из дома сам. В те времена нам не твердили ни про стройки, ни про целину, ни про заводы, никто и в класс не приходил агитировать на работу, а, наоборот, приходили агитировать учиться дальше. И мы разъезжались — по университетам, по большим городам. Меня провожала вся моя неграмотная родня — такелажники, грузчики, каменщики, уборщицы. Все были навеселе. Все шумели. Только мама изредка утирала слезы. Но и ее слезы тоже были веселые, ненастоящие. Сам я во всем новеньком — в костюме, пальто, шляпе, ботинках, при галстуке, причем, и костюм, и пальто, и шляпа — первые в моей жизни. Через несколько дней я уже с гордостью показывал себя в столичном граде. И на меня, действительно, глазели — в трамваях, в автобусах, в метро, и я млел от удовольствия, но потом стал подмечать во взглядах, обращенных в мою сторону, что-то вроде сочувствия или лукавой насмешки, или даже удивления — откуда, мол, такой взялся. Тогда я сам взглянул на себя как бы со стороны, сравнил с другими и с ужасом осознал: суконное косоплечее пальто слишком длинно, почти до пят, галстук завязан нелепым, с кулак, узлом, поля черной шляпы — шире плеч; в этом одеянии я походил на духовного служку или семинариста. Видно, так меня и принимали...

Заработали моторы. Самолет задрожал. Я посмотрел через иллюминатор на перрон. Кудрин ушел. Парфенова и Гришина мать все еще стояли и одинаковым движением подносили к глазам платочки. Отныне и судьба у них станет одинаковой: ждать писем от детей, не спать по ночам, все думать и думать о них.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На следующий день под вечер я сидел в одиночном номере Уганской гостиницы (один шкаф, одна кровать, один пыльный половичок под ногами, одно окно, один письменный стол, одна пепельница) и, готовясь писать репортаж, перебирал в памяти впечатления минувших суток: дорогу на Шамансук, сам Шамансук, ребят, их лица, голоса.

Вчерне готовая дорога — это кучи щебня на пути, через которые наша открытая машина с белым от цементной пыли кузовом переваливалась уткой; это стада бульдозеров, по пять-шесть в ряд, надвигавших на дорожный профиль перемешанную с травой, кустами и обрывками корней землю; это, наконец, невесть откуда взявшийся молодой парень в светлобрезентовой робе, каске и с красной тряпкой, подвязанной к палке; перед сигнальщиком машина простояла больше часа; впереди ухали взрывы и видно было, как над верхушками деревьев взлетали осколки камней, желтые щепки и раскоряченные, похожие на осьминогов, пни, — там одновременно спрямляли дорогу и добывали для ее покрытия щебенку и камень. Ребят с ног до головы запорошило цементной пылью, белым облаком кружившейся над кузовом. Побелели щеки, волосы, ресницы, костюмы, только по глазам еще и можно было их различить. Я, конечно, тоже выглядел не краше. Но с пылью скоро освоились, и никто уже не обращал на нее внимания. Ребята крутили по сторонам головами, ахали, охали, наперебой показывая друг другу всякую всячину — то нависшую над дорогой скалу, всю в трещинах и глинистых потеках, то стремительный откос, обрывавшийся чуть ли не из-под самых колес в сумрачную гнилую пропасть, то еще что-нибудь. А я не столько смотрел по сторонам, сколько на ребят, и мне было приятно,

что они так довольны дорогой, свободой, новой жизнью. Я даже немножко возгордился: ведь не кто-нибудь — я им устроил эту жизнь.

Последние десять километров, уже в сумерках, машина осторожно двигалась по галечному дну речки, и это тоже было очень здорово! Полукруглыми полированными линзами расходилась из-под колес вода, скрипела галька, скреблись, шабаршили по бортам прибрежные тальники.

В поселок изыскателей приехали в полной темноте. Ни огонька, ни звука. Даже не верилось, что тут есть кто-то живой. Тьму творили горы, до небес заслонившие речную долину от всего белого света. В вышине смутно угадывались их вершины.

Шофер несколько раз просигналил. Гудки потонули во тьме, как в вате. Однако минут через десять у машины объявился Приходько. Мы его узнали по голосу. Да еще по волосам, мерцавшим в темноте, точно рой светлячков. Он провел нас в избу. Под ногами шуршала стружка, пахло свежим смолистым деревом. Приходько засветил фонарик, и мы увидели у дальней стены составленные друг на друга новенькие, еще некрашеные школьные парты. Вот так-так — из школы в школу! Но на разочарование уже ни у кого не хватило сил, и, побросав на пол котомки, вповалку улеглись спать.

Утром высыпали на крыльцо. По обеим сторонам речки на плохо расчищенных береговых склонах стояли в беспорядке новенькие рубленые избы. Между ними тут и там торчали пни с желтыми срезами. Валялись кучи хвороста. По стенам из пазов куделями свисал мох. Здесь его не жалели! Внизу дымилась речка. Прибрежные горы находились еще в тени, лишь у одной, самой высокой, замыкавшей долину с юга, голая круглая вершина была высвечена невидимым пока солнцем.

По этой лысой вершине мы и узнали ее — Шаман!

«Так вот где бродила Татьяна, вот где ее заваливало снегом!» — растроганно подумал я, и мне вдруг нестерпимо захотелось поскорее домой, к ней...

...На этом я оборвал воспоминания, придвинул к себе бумагу и начал первую фразу:

«В Уганске, на аэродроме, нас уже поджидала машина, изрядно потрепанная на горных дорогах, вся пыльно-белая от цемента, который возили на ней накануне...».

— Стоп! — сказал я и вмиг представил перед собой Манефу. «И на такой машине ехали твои ребята?» — вопрошала она. — «Да». — «Безобразие! Про цемент и про пыль — вычеркнуть!» — «Но ведь именно так и было». — «Мало ли как бывает на свете? Мы не имеем права всякую грязь тащить в газету». — «Пыль, положим, еще не грязь и ничего страшного в ней не вижу». — «Не видишь? А зря. Представь, что подумают родители, учителя?... Или как обрадуются там, ознакомившись с твоим репортажем: вон, мол, в каких условиях работает у них молодежь. Нет! Нет! И нет!»

Я даже мысленно не мог переспорить Манефу, а о том, чтобы это случилось в действительности, — и говорить не приходится. Тяжко вздохнув, принялся переделывать фразу.

Через какое-то время в дверь постучали. Я перевернул исписанную страницу и отозвался. На пороге появился незнакомый мужчина, худощавый, прямой, в сером полотняном костюме; летнюю шляпу с дырочками он держал в опущенной руке. Откуда такой дачник взялся в рабочем поселке?

А мужчина все стоял на пороге, тонко и загадочно улыбался, словно я должен был знать его, только вот до поры до времени никак вспомнить не мог, и он терпеливо ждал, выказывая всего себя.

— Козлов? Виктор Степанович? — наконец, молвил он.

— Да, — подтвердил я.

— Пожалуйста, не удивляйтесь... Вы корреспондент, не правда ли?

— Истинная правда.

— На ловца и зверь бежит. Я сам собирался лететь к вам в редакцию, но теперь нужда в этом отпадает... Еще раз прошу не удивляться. Мне администратор сего заведения сказала о вас.

С последними словами гость вступил в комнату, огляделся. Стул в номере тоже был в единственном экземпляре, тот, на котором сидел я сам. Я предупредительно встал.

— Садитесь.

— Позвольте представиться... Крапивин. Евгений Григорьевич. Начальник геологической службы здешнего рудника.

«Вон кого бог послал!» — враз вспомнил я все, что слышал о нем накануне от жены, и вновь пригляделся к гостю: тонкое нервическое лицо, гладкие черные волосы, глубокие залысины на висках — легкий, праздничный в своем летнем наряде. Однако я и вида не подал, что уже знаю его. Ну, послушаем, какая у него нужда.

Я присел на кровать. Крапивин устроился на стуле. Шляпу положил на колени.

— Разговор у меня долгий. И, к сожалению, его придется отложить, — начал он.

— Почему? — удивился я.

— Нет при себе документов. А без документов вы вряд ли что-нибудь поймете. Давайте договоримся так: я вам оставлю адрес, и через час вы у меня.

— Через час не могу. Срочная работа. Надо текст передать по телефону.

— Хорошо. Можно попозже. Позже еще лучше: успею как следует приготовиться. — Крапивин вскинул руку и взглянул на часы. — К восьми освободитесь?

— Не знаю.

— Ну, к девяти? — очень вежливо, но настойчиво напирал он. — Меня легко найти. Береговая улица. Перед домом свалены свежие бревна. Впрочем, я могу и сам зайти за вами...

— Не надо. Найду,— смирился я, сознавая, что так или иначе он настоит на своем; да и долг журналиста не позволял мне уклониться от разговора.

Крапивин ушел. Я снова взялся за работу. Но сосредоточенность уже была утеряна. Я поминутно отвлекался, припоминая неожиданный визит. «Что у него за дело?» — думал с непонятной тревогой и почему-то казалось: дело будет касаться Татьяны. И чем больше я размышлял на эту тему, тем очевиднее представлялось: оба они, и Татьяна и Крапивин, каким-то образом связаны друг с другом. Неспроста она пушила его перед школьниками. Ой, неспроста!

До прихода Крапивина я чувствовал себя в маленьком номере, словно в башне из слоновой кости — тихо, покойно, отгороженно от всего мира. А теперь опять будто очутился на бренной земле, и слух мой раздраженно реагировал на все посторонние звуки: где-то стукнула дверь, где-то протопали шаги, где-то гудели голоса, за окном проревела тяжелая машина, нос стал улавливать не замечаемые ранее запахи кухни, расположенной на первом этаже.

Как он там подготовится? — возвращался я мыслями снова к Крапивину. Выставит угощение, выпивку? Ну, уж нет! С этим типом я пить не стану! Послушаюсь на этот раз Петра Евсеевича, заведующего отделом писем в редакции и добровольного блюстителя журна-

листской нравственности; Петр Евсеевич на всех собраниях наставлял молодую братию: каждый, мол, считает за честь выпить с журналистом, но вы отказывайтесь, не срамите высокого звания, будьте бдительными!

— Буду бдительным! — сказал я, выходя около девяти часов из гостиницы.

Поселок располагался в живописном месте: с одной стороны — река Уган, быстрая, прозрачная, многоводная, с другой — скалистые, крутые, так что ни кусты, ни деревья на них не держались, горы. К горам жались каменные дома, а ближе к берегу — старые, почерневшие от времени деревянные избы. На них, где нужно и где не нужно, висело железо: щеколды, бауты, скобы, крючья, подковы, номера, ручки — все тяжелое, основательное. Даже дорожки перед калитками вымощены чугунными плитами. В старину здесь работал железоделательный заводик. Он и выпускал все эти скобы, щеколды, бауты, отягчающие теперь иссохшие ворота, двери, оконные наличники, а кроме того — чугунные гири, сковороды, песты, ступы, намогильные плиты. Заводские поделки санным путем вывозились на транссибирскую магистраль. В гражданскую войну партизаны отливали на заводике мортиры, снаряды и ядра. Заводик был скомпрометирован кандалами, и после гражданской войны новые власти прикрыли его вместе с рудником. Две домны разобрали на кирпич. Железоделатели частью вернулись на Урал, откуда были вывезены их предки, частью переквалифицировались в охотников, а сам поселок стал центром обширного таежного района, в котором, правда, кроме захудалого прииска, больше ничего не действовало — ни колхозов, ни леспромхозов.

Вновь уганцы приобщились к железу во время войны. Тогда расчистили заброшенные штольни, вдоль

скалистого берега Угана насыпали каменную полку, протянули по ней железную дорогу, и пошла руда на нужды военной работы. С той поры по-под горой стали строиться большие дома.

Новый подгорный поселок и старый, береговой, разделены широкой рудовозной дорогой, приподнятой над землей вровень с окнами первых этажей. По дороге, сотрясая стекла в домах, с грохотом и воем проносились тяжелые рудовозные машины — МАЗы, КРАЗы, «Татры».

Я посмотрел в ту сторону, откуда они появились, — там, за поселком, заслоняя даль, стояла гора, изрезанная террасами, по ним двигались маленькие, хобастые экскаваторы.

Береговая улица, самая древняя в поселке, в один порядок вытянулась окнами на реку. Дома с палисадами из тычин, с дремуче разросшимися черемухами, со скворешнями.

Вечернее большое солнце окрашивало реку в красный цвет. Оно било мне в спину, и впереди чуть ли не на версту вытянулась тонкая жидкая тень, по такой длинной я бы уж никак себя не признал.

Крапивин ждал. В том же полотняном костюме, в шляпе с дырочками, он возвышался на куче светлых бревен и, козырьком навесив над глазами руку, смотрел против солнца вдоль улицы. Вот он приметил меня, снял шляпу, приветственно помахал над головой и спрыгнул на землю.

Снаружи крапивинский дом ничем не отличался от тех, какие стояли по всей улице, — темный, отягченный железом, с палисадом, скворечником, но когда я зашел внутрь, неожиданно был поражен его городской отделкой: стены отштукатурены, комнатные двери — в стеклах, под окнами — маленькие, гармошками, обогрева-

тельные батареи, в кухне куда-то под пол уходил железной трубой ручной насос домашнего водопровода.

— Сам сделал, — перехватив мой взгляд, пояснил Крапивин. — Привык к комфорту, грешен... А теперь сюда, в библиотеку.

И действительно, комнату, в которую он меня завел, иначе, как библиотекой, нельзя было и назвать: вдоль всех стен стояли полки, набитые книгами.

«Что за чертовщина? Кто же он такой?» — ломал я голову.

— Меня всю жизнь раздирали две страсти, — с усмешкой говорил Крапивин, как бы одновременно вышучивая и снисходительно оправдывая свои слабости. — Пятнадцать лет проработал в геологическом управлении. Причастен почти ко всем открытиям в области. А в свободное время, представьте, сочинительством баловался. Это, так сказать, хобби... Может, какие мои статейки и вам попадались на глаза?

И я сразу вспомнил: в первые годы работы в самом деле довольно часто встречал его фамилию под краеведческими заметками, путевыми очерками, репортажами о новых геологических открытиях. «Ну, конечно же! — обрадовался я. — Он затем и завлек меня к себе, чтобы показать какое-нибудь новое сочинение. И как я с самого начала не догадался об этом, когда он еще о бумагах заговорил», — осудил я свои прежние опасения, забыв, что Крапивин говорил вовсе не о бумагах, а о документах.

Моя догадка подтверждалась и дальнейшими признаниями хозяина:

— Из-за последней страстишки и сюда перебрался. Уж слишком много накопилось за жизнь всяких наблюдений, мыслей, воспоминаний. Вот и захотелось их оформить в нечто вещественное, капитальное... Здесь

и со временем посвободнее, и природа перед глазами, и производство рядом... Я, грешным делом, люблю сам камешки отбивать, а не из вторых рук брать... А семья там, в городе. Этот дом у нас вроде дачи... А теперь загляните сюда, — сказал Крапивин и выдвинул из письменного стола ящик; на дне ящика, на белой ватке, лежали раскрошенные ржавчиной ножи, наконечники стрел, монеты.— В окрестностях поселка раскопал. И знаете, о чем свидетельствуют эти предметы? О том, что местные аборигены, хакасы знали про уганскую и шамансукскую руду задолго до того, как сюда пришли русские. Не только знали, но и умели добывать из нее чистое железо. Тоже тема!

Мне уже было интересно в гостях, хотелось повнимательнее рассмотреть извлеченные из небытия железки, так много говорившие уму хозяина, порыться в книгах, но хозяин вдруг оборвал себя, взял меня за локоть и повел через застекленные двери в следующую комнату, говоря на ходу:

— Заболтался. А соловья баснями не кормят...

Мои опасения насчет выпивки оправдались. Именно выпивку и угощение убегал готовить Крапивин, и сейчас передо мной стояли вина, закуски, и среди них, на уголке стола, совсем не к месту, лежал разбухший скоросшиватель. «Никак повесть или даже роман. В вечер не управиться», — с обреченным чувством подумал я, а вслух произнес:

— Это вы напрасно. Пить я не могу.

— Ну, уж никогда не поверю, — недоверчиво рассмеялся Крапивин. — Чтоб журналист — и не мог.

— Честное слово.

— Давайте за стол. За столом легче договориться. И не прекословьте: хозяин — барин, слушайтесь.

Крапивин устроился против меня, открыл бутылку

с коньяком, налил в две рюмки и вдруг замер с протянутой над столом рукой.

— Вы видели сегодняшний номер своей газеты?

— Нет.

— Ого! Тогда и не представляете, с кем имеете дело! Одну минуточку...

Крапивин поставил бутылку, куда-то сбегал и принес газету.

— Прочитайте. Там отчеркнуто.

На четвертой странице публиковался репортаж Куба о проводах. Большой репортаж, на две колонки убористым шрифтом — постарался! Два абзаца в середине текста были обведены синим карандашом. Куб почти слово в слово повторил все, что на школьном дворе говорила о Крапивине Татьяна... Только фамилии его не назвал. Писал о «бюрократах из Уганска». Однако выдержка у мужика. Статья, поди, из головы не выходит, а сам и виду не подал, будто случайно вспомнил.

— Это обо мне! — подтыкая за воротник крахмальную салфетку, заговорщицки подмигнул Крапивин. — Бюрократ! Завистник! Зверь! Вставляю палки в колеса молодым талантам! Не боитесь?

— Мне-то чего бояться?

— Вот и хорошо! Тогда по маленькой — за знакомство... Ну, ну, отказываться от знакомства не по-журналистски.

Настырный мужик — уломал. Тотчас же Крапивин налил по другой.

— Как раз об этом деле я и хотел поговорить с вами. Внести, так сказать, некоторую ясность.

Значит, и первоначальное предчувствие не обмануло меня, и в скоросшивателе никакая не повесть и не роман — другое.

— Вы что-нибудь слышали о Шамансукском месторождении?

— Не только слышал, но и был там. Провожал выпускников, о которых пишут.

— Выходит, вы и обо мне уже знаете? Разумеется, из уст этой персоны.

— Знаю немножко.

— Вы, я вижу, большой хитрец!

— Может быть, — согласился я, имея в виду, что самое-то главное я ему не сказал и, наверно, не скажу: «эта персона» — моя жена.

— Люблю иметь дело с умными людьми... Итак, вы кое-что о Шамансуке знаете... Восемьсот миллионов тонн руды, кладовая и так далее, не надо разжевывать?

— Не надо.

— Отлично. Тогда сразу быка за рога. В папке, — и Крапивин нежно погладил скоросшиватель, — собраны документы об открытии месторождения. Из них вырисовывается несколько иная картина, чем та, которую рисует в городе Красовская. Даже совсем другая! Короче: Красовская — не первооткрывательница, а чистейшей воды авантюристка, пытающаяся отнять эту честь у других. К месторождению она имеет самое косвенное отношение. Видите, какая драматическая история! По-моему, сущий клад для газетчика!

— А кто эти другие? — хрипло спросил я.

— Не спешите. Все по порядку. Начнем вот с этого. — Крапивин раскрыл скоросшиватель и вытащил из него голубенькую брошюрку, в которой я сразу же узнал автореферат Татьяниной диссертации. — Прошу прочитать только первое предложение. Дальше не стоит.

Я взял в руки брошюрку, скользнул взглядом по начальной странице, но читать ничего не стал: всю

брошюрку я помнил наизусть. Начиналась она так:

«Тема моей диссертации — геология Шамансукского железорудного месторождения, открытого автором реферата в сентябре 196... года при поисках новых точек орудения в Уганском районе».

Для вида я подержал книжечку перед глазами и вернул Крапивину. Потом машинально потянулся к столу, нашарил рюмку и одним духом выпил. В мозгу сверлило: Татьяна в опасности! Знает ли сама она о собравшихся над ее головой тучах? Как мне вести себя?

— Это по-нашински! — глянув на мою рюмку, одобрительно воскликнул Крапивин и тут же опорожнил свою; потом, аккуратно закусив и обтерев салфеткой губы, продолжал:— Два года назад Красовская приехала ко мне на преддиссертационную практику. И обратите внимание: первоначально тема у нее была не «Геология Шамансукского месторождения», как ныне называется диссертация, а «Геология Уганского месторождения и возможности прироста новых запасов». То есть она должна была работать в Уганске, обследовать окрестные горы. Дело у ней не двигалось. Не скажу, чтобы мне стало жалко ее. Своя корысть была, когда предложил ей проверить заявку на Шамансуке. Какая корысть? Время от времени к нам приходят заявки: мол, там найдена галька, в другом месте, в третьем. Мы должны их проверять. А в моем распоряжении три геолога. И все по уши завалены текущей работой: отчеты, проекты, сметы, пятое, десятое. Словом — не до заявок. Вот и затянули с Шамансуком. Охотники уже дважды приносили оттуда магнетитовую гальку. Я обратился к Красовской: все равно-де у вас здесь ничего не получается, поезжайте на Шамансук, найдете месторождение — вот вам и диссертация. С неделю упрямилась. Потом видит — прав я. Согласилась.

В начале августа вышла с отрядом. И, знаете, как только она отправилась, я день и ночь стал размышлять о Шамансукской заявке и совершенно уверовал в открытие нового месторождения.

— Посмотрите гальку, — Крапивин вытащил из кармана плоский камешек, протянул мне. — С одной стороны галька точно зеркало отполирована, а с другой — шершавая, как наждак. Не геологу понятно: гальку совсем недавно оторвало водой от коренных пород. А теперь посмотрим, далеко ли ее могло унести? Галька найдена близ устья Шамансука. А протяженность реки не больше двадцати километров. Яснее ясного: где-то на этом участке и залегли породы. Но я рассуждал дальше. Шамансукская галька как две капли воды похожа на уганскую руду. Я обратился к карте. Выяснилось: Уганское месторождение и предполагаемое Шамансукское находятся на одном горном хребте. Не единая ли жила протянулась? Словом, пока Красовская с отрядом пребывала в маршруте, я настолько уверовал в новое месторождение, что считал его уже у себя в кармане. И представьте мое разочарование, когда она вернулась ни с чем. Не то, чтобы совсем ни с чем, — привезла еще одну гальку. А толку-то что? Галька у нас своя была. Я редко выхожу из себя, но тут не сдержался: «Плохо искали! Руда там обязательно есть!» — «Нет никакой руды». — «Придется вторично выехать». — «Никуда я больше не поеду. Вы просто хотите погубить мою диссертацию, отвлекаете от основной темы»... Я настаивал на повторных поисках, она упорно отказывалась, даже разрыдалась...

До последних слов все более или менее походило на правду, но, чтобы Татьяна могла разреветься, да еще перед чужим человеком, в это уж я никак не мог поверить.

— Так-таки и разрыдалась? — повеселев, спросил я и снова отхлебнул из рюмки — от беспокойного напряжения, с каким слушал, в горле пересохло.

— Ну да! В три ручья лились слезы! — восхищенно воскликнул Крапивин и одобрительно кивнул. — А вы молодцом! Поначалу испугался: пропадать добру! Но ничего — расходится!

— История слишком занятная.

— А что я вам говорил! На такой истории можно имя сделать. Сам бы писал — причастен. Себя защищать всегда труднее, чем других.

— Чужими руками намерены драться?

Крапивин подозрительно глянул на меня, но тут же весело рассмеялся:

— А вам палец в рот не клади. Хитрец вы! Хитрец!.. Слезы, значит, заинтересовали? Были слезы! Не я один видел. И начальник геологического управления Русанов видел. В то время он здесь находился. Он-то и помог мне послать Красовскую на Шамансук вторично. Вторично,— подчеркнул Крапивин.— И только в этот раз поиски увенчались успехом... Вот и спрашивается, кто в таком случае первооткрыватель?

— Вы себя считаете первооткрывателем?

— Не только себя, но и Русанова. Без его настойчивости Красовская второй раз на Шамансук ни за что бы не пошла. Начальника Шамансукской экспедиции Приходько опять же. Еще трех-четырех геологов, работающих теперь на месторождении. Ну, и Красовскую. А она все под себя подгребла!

— Зачем ей нужно это было?

— Для диссертации, — не задумываясь, ответил Крапивин.

— В ином случае, выходит, она бы ее не защитила?

— Не утверждаю. Возможно, и защитила бы. Но

так вернее и скорее. В глазах ученых уже самое открытие, сделанное ею в одиночку, — целая диссертация. Детально изучать месторождение уже не обязательно — хватит и малости. Кстати, реферат не блещет ни глубиной мысли, ни редкими знаниями. Совсем не блещет. Скороспелая работа. При других обстоятельствах диссертацию и к защите могли не допустить. А теперь пошла, да еще, наверное, на ура... А честолюбие? А жажда славы? Что это такое, надеюсь, вам, журналисту, не надо объяснять? Все верно рассчитано: чем больше соавторов, тем меньше славы. Их больше в десять раз, значит, в десять раз меньше этой сладкой отравы. Ничтожная капелька — не полакомишься. Понимаете?

— Мда-а, — неопределенно промычал я. В голове шумело, сам не знаю от чего — от коньяка или тягостного разговора. Крапивин снова наполнил рюмки.

— Ну, заинтересовало дело?

— Забористое.

— Сенсационная статья получится. Пальчики оближешь! Выпьем-ка за нее.

— Получится ли еще?

— У вас получится. Верю. Помнится, читал кое-что. Крепко пишете.

— Передайте-ка, пожалуйста, документы.

Крапивин протянул скоросшиватель. Отодвинув рюмку, я положил его перед собой на скатерть и стал перелистывать тщательно скрепленные страницы. В глаза бросился знакомый почерк. Татьянин! Письмо на имя Русанова. Выходит, она в курсе. Господи! Да что же это такое? Когда она его написала? Почему я о нем не знаю? Почему не знаю, что вокруг открытия завязалась такая возня? Почему вообще ничего не знаю? И как письмо попало сюда? Ага, наверху при-

писка: «Разберись, Женя». Кто такой Женя? Да Крапивин же! — наконец догадался я. Значит, он для Русанова — просто Женя.

Все это было очень подозрительно. Меня затрясла тревога — за Татьяну, за себя, за Маринку, за прекрасный июль, грозовые ночи — за всю свою жизнь, словно она должна была вот-вот рухнуть, как рухнул в один миг перед нашим домом тополь.

Что хоть она пишет? Неужели признается?

*«17 мая на имя ученого секретаря горного института от геолога Е. Г. Крапивина поступили «замечания» на мой автореферат. Копию этих замечаний высылаю вам и считаю нужным напомнить обстоятельства открытия Шамансукского месторождения, и если геолог Крапивин их «забыл», то прошу напомнить ему. Дело было совсем не так, как пишет в своих «замечаниях» Крапивин...».*

Ага, Татьяна наступает! Я приободрился. Дальше читал письмо урывками, выхватывая из него лишь те фразы, которые спорили с Крапивиным.

*«В Уган я приехала в начале июня и могла бы сразу приступить к работе, и студенты из моего отряда уже находились на месте. Но Крапивин заявил: поисковый отряд к их службе не относится и снабжать его он ничем не намерен, не даст даже листа бумаги. Я должна была выехать в город».*

Да-да! — вспомнил я. В город она приезжала. Вечером мы еще в ресторан ходили.

*«О Шамансуке Крапивин совершенно ничего не знал».*

*«Откомандировать меня на Шамансук, как пишет Крапивин в своих замечаниях, он не мог, да еще со всем отрядом. Он даже не знал, что я туда ушла».*

*«Я проверяла заявку профессора Баженова».*

*«И если месторождение было открыто в сентябре, то совсем не из-за настойчивости геологического управле-*

*ния, а только благодаря самоотверженности и энтузиазму студентов: они работали, не считаясь ни с чем».*

«Так его! Так!» — радовался я каждому Татьяниному выпаду, будто сам пластался врукопашную с Крапивиным.

— Может, она в самом деле проверяла не вашу, а баженовскую заявку? — оторвавшись от бумаг, спросил я.

— Чушь! — вскочив со стула, замахал руками Крапивин. — Нет никакой баженовской заявки! Я все его работы просмотрел, даже те, какие существуют на правах рукописи, — ни слова о Шамансуке. Да и что он мог о нем знать, если заезжал в наши места всего дня на два или на три. На консультацию вызывали.

— Выходит, она сама измыслила его заявку?

— Истинно так! Упоминание о Баженове — ход конем! Кто против такого имени попрет? Сам он возражать против приписываемых ему заслуг не будет. Не из боязни ущемить свой престиж. Нет. Просто он покровительствует этой девчонке.

— Вы уже собираете сплетни, — резко оборвал я хозяина.

— О, молодой человек! Жизни не знаете! В наше время...

— Старая песенка...

— Ладно, ладно, — задабривая, согласился Крапивин. — Изучайте.

Я снова уткнулся в бумаги... А вот и копия ответа Крапивина на Татьянино письмо:

*«На мои замечания Т. С. Красовская ответила письмом на имя начальника геологического управления Б. Ф. Русанова. Если раньше в автореферате диссертации она просто не сочла нужным упомянуть о геологах рудника, как об авторах заявки, и о представителях гео-*

*логического управления — организаторах проверки этой заявки, то в письме Красовская пошла еще дальше. Она категорически заявила: месторождение открыто без всякой посторонней помощи, в район Шамансука для поисков руд она вышла, мол, по собственной инициативе... Заявление о «собственной инициативе» не выдерживает никакой критики. Красовская в Уганске работала под руководством начальника геологической службы рудника. Без его разрешения она не могла не только выйти за пределы Уганска, но и заниматься поисками близ самого поселка».*

Документов было много. Больше ста листов. Хранилось там и нотариально заверенное заявление некоего Юшкова, охотника. Он рассказывал, что три года назад близ заброшенного прииска Нежданный получил от неизвестного человека для передачи Крапивину магнетитовую гальку и уже через несколько дней передал ее по назначению... «Нотариальный-то штамп зачем? Для пущей важности? И кто такой этот неизвестный человек? Откуда он мог взяться в районе, где всех жителей по пальцам пересчитаешь?... Детектив и только!» Но спрашивать о чем-либо уже не было мочи, и я захлопнул скоросшиватель.

Толстая пачка бережно собранных, подшитых документов, и обильный стол, организованный заранее, и сам Крапивин с его бледным нервным лицом и дачным обликом — все наводило на мысль: дело далеко не чистое. Однако черт его знает! Почему же тогда Татьяна ни словом не обмолвилась мне об этой возне вокруг ее месторождения?

Меня трепало, как в лихорадке. От тревоги, унижения. Сам себе был ненавистен из-за того, что вовремя не сообщил хозяину о своем родстве с Татьяной и теперь не мог в открытую с ним схлестнуться, защитить

жену. Подавляя в себе враждебность, чувствовал на своем плече чужую обнимистую руку:

— Вывести их на чистую воду! И Красовскую и Баженова!

Проснулся я уже при ярком свете, открыл глаза и долго не мог понять — где нахожусь. Какие-то декоративные стены — в разноцветных корешках книг. Прохладные запотевшие стекла. Заросли черемухи за ними. Сам я лежал на раскладушке, в одних трусах, а одежда висела на стуле. Тут же, на стуле, я увидел скоросшиватель и сразу все вспомнил. Крапивин, Татьяна, письма, заявления... И снова от унижения, от предчувствия беды заныло сердце.

Я вскочил на ноги и стал торопливо одеваться. В голове гудело сорок сороков. Каждое движение болью отдавалось в висках.

Вошел Крапивин, побритый, чистый, свежий, влажно причесанный на пробор. Ночной кутеж сошел с него, как с гуся вода.

— А я уже под холодным душем постоял. В саду у меня самодельный душ. Не хотите?

— Некогда. На аэродром надо бежать.

— Опохмелиться? На дорожку полезно.

— И не говорите. Со вчерашнего качает.

— Ну, ваше дело... А папку с собой берете?

— Беру.

— В таком случае мне бы расписочку... Мало ли что... Документы все-таки.

Дрожащей рукой я нацарапал в записной книжке расписку, вырвал страницу, сунул Крапивину и, прихватив папку, почти бегом вылетел из дому на солнечный свет.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я всего третий месяц работал в газете, не знал Татьяны и вообще еще не приобрел никаких знакомств в городе, просиживал до поздна в редакции, приглядывался, осваивался — вот в это время и заявились ко мне в отдел два новых гостя.

Они были примерно одних со мною лет. Тот, что вошел первым, — долговязый, узкоплечий, порывистый в движениях; другой, напротив, — низкорослый, широкий, словом, какой-то квадратный. Примечательным у него было и лицо — с вывернутыми толстыми губами, носатое.

— Эджин Ветров, — легко переломившись над столом и протянув холеную тонкой кости руку, назвался первый.

— Александр Мутовкин, — представился второй. Чтобы пожать мою руку, ему пришлось со стороны обойти стол.

Они сели: Эджин — в кресло, закинув ногу на ногу, Мутовкин — на мягкий широкий подлокотник. Сравнялись головами.

— Мы вас уже видели, — сказал Эджин. — На улице. Вы шли в синей шляпе. Кстати, вот и она, — кивнул он на вешалку, где висела шляпа. — И я сказал тогда: наконец-то в этом городе встретился человек, умеющий носить шляпу. Помнишь, Куб, я сказал: вот кто умеет носить шляпу!

— Да, — не совсем уверенно подтвердил Куб.

Я понимал, что Эджин льстит, расхваливая меня за шляпу, и Куб льстит, соглашаясь с ним, и понимал: делают они это из желания завоевать доверие самым легким способом. Но все равно мне было приятно. И вместо того, чтобы отшутиться, я смущенно произнес:

— Разве я ее как-то по-особенному ношу?

У Эджина дрогнули уголки губ, и он поспешно при-

крыл веками свои большие глаза. Я не успел засечь их выражение, но убежден: в них светилось мелкое торжество. Клюнул, мол, на шляпу!

Ну, сейчас я их поставлю на свое место. Наверняка принесли какую-нибудь чепуху. И я кивнул на свернутые в трубку листочки писчей бумаги в руках у Куба.

— Показывайте, что у вас.

Куб протянул листы. Я небрежно развернул их и стал читать. «В село приехал цирк». Ага, значит, зарисовка. Посмотрим, посмотрим...

«На мягкую от пыли улицу въезжает голубой автобус, обклеенный разноцветными афишами. Невесть откуда появляются мальчишки и девчонки, шлепают босыми ногами по пыли, бегут за автобусом и орут, словно сорочата: «Цирк! Цирк! Цирк приехал!».

Автобус останавливается, из него выходят обыкновенные люди в обыкновенных городских костюмах. Мальчишки и девчонки разочарованы: «А где же клоун?»...

— Ну как? — озабоченно спросил Куб, не обладавший выдержкой своего товарища.

— Чувствуется, вы уже писали прежде.

— Мы литературный институт в Москве закончили, — скромно признался Эджин.

— Имени Горького?

— Нет.

— Разве есть еще какой-то литературный институт?

Гости переглянулись, замялись, а Куб, густо покраснев, покаянно признался:

— Эдька не совсем точно выразился. Библиотечный...

Ага, попались, голубчики! Теперь-то я с вас взыщу за шляпу!

— Библиотечный! Вот бы никогда не подумал, что там учатся парни.

— Литературу мы изучали по университетской программе, — самолюбиво произнес Эджин, покосившись на голубой с золоченым гербом ромбик на лацкане моего пиджака.

— Некуда было деться, — хмуро признался Куб. — Толкались и в литинститут. По конкурсу не прошли.

— А кем вы здесь работаете?

— Куб — директор областного Дома народного творчества, а я — директор методкабинета культпросветработы.

— Ого! Сразу после института — в директора! Редкий случай. Знаете, я сейчас же проставлю под фамилиями ваши громкие титулы. Зарисовка заиграет, да и в газете у нас это любят.

— Пожалуйста, не надо,— взмолился Куб,— мы равнодушны к титулам.

— А к чему неравнодушны?

— К литературе.

— Надеетесь, со временем ваши фамилии получат журналистскую или писательскую известность?

— Ради газеты мы охотно бы расстались со своими высокими должностями,— сказал Эджин.

— Давно вместе пишете?

— Пять лет,— ответил Эджин.

— С того дня, как познакомились,— улыбнулся Куб.— Познакомились мы с ним интересно. В институте я его сразу приметил. Длинный, щеголеватый: костюм с иголочки, рубашка шелковая, галстук тоненький. Подумал, вот хлыщ узкопленочный, надо набить ему как-нибудь морду! А тут Эдька сел, закинул ногу на ногу, вот так же, как сейчас, и я увидел у него на носке дыру, а сквозь нее — грязную черную пятку. Обрадовался — свой парень! Ударил по шее — и с той минуты мы с ним соавторы.

Куб хохотнул, а Эджин, недовольно взглянув на него, скинул на пол болтавшуюся в воздухе ногу.

— Веселые парни. Жаль — вдвоем пишите. В мой отдел нужен литсотрудник. Но штатным расписанием такой вариант не предусмотрен.

Эджин заторопился, встал.

— Очень, очень приятно, что познакомились... Зарисовочку-то скоро увидим в газете?

— На неделе, полагаю, увидите.

Оба по очереди пожали мне руку и направились к двери. Впереди — долговязый Эджин, следом — короткий квадратный Куб.

Не успел я выправить зарисовку — в кабинет бесшумно вплыла Манефа.

— Что за Пат с Паташоном плиходили? — миролюбиво картавя, спросила она.

— Это были Ильф и Петров.

— Да? Котолый из них Ильф?

— Маленький, наверно.

— Холошо пишут?

— Ничего. Можно печатать.

— А не площелыги они?

— Напротив: очень важные особы! Директора крупнейших областных учреждений!

— Не мистифицилуй, пожалуйста.

— Честное слово. Ильф — директор Дома народного творчества, Петров — директор методкабинета культпросветработы.

— Покажи, что они плинесли.

Я протянул листки: Манефа с профессиональной быстротой пробежала по ним глазами и, возвращая, сказала:

— Сдай сегодня. Закажу художнику лисунок. Поставлю в восклесный номел.

И пошла. Посреди комнаты повернула в мою сторону отягченную пышными золотистыми волосами голову:

— Плигласи их завтла ко мне.

— С превеликим удовольствием,— я наклонился низко к столу, чтобы спрятать от Манефы неподобающую ухмылку, однако она ее заметила и сердито стукнула дверью.

В редакции все знали о ее пристрастии к молодым дарованиям. Она любила открывать и печатать их, причем печатать, нарушая всякую газетную субординацию. Материалы новоиспеченных талантов попадали к ней на стол, минуя отделы, она сама правила их и сразу же ставила в номер. К сожалению, больше месяца покровительствовать она не умела. Уставала, разочаровывалась, пугалась чего-нибудь или просто появлялось новое дарование, и, забыв о старых привязанностях, она начинала лелеять его с прежней страстью. Этой чертой Манефа походила на некоторых именитых писателей, которые шумно и радушно поддерживают молодого литератора, пока он средне, ученически пишет, и отворачиваются от него, как только он чему-нибудь научится.

Я перепечатал на машинке зарисовку, отнес Манефе и стал собираться домой. Сипло задребезжал телефон. Я снял трубку.

— Эджин вас беспокоит. Эджин Ветров.

— Хотите что-нибудь исправить в зарисовке?

— Нет,— замялся Эджин и замолчал.

— В чем тогда дело?

— Не придете ли вы к нам сегодня на ужин? Жена борщ сварила. А у меня еще с Москвы бутылочка «Муската» сохранилась.

Вспомнив наставление Петра Евсеевича: не пей с кем попало, будь бдительным — я отказался.

— Подождите одну минутку! — торопливо крикнул

Эджин, и в ту же секунду в трубке решительный женский голос предупредил:

— Сейчас за вами зайдет Эдик. Вы непременно должны прийти к нам. Это говорит Лида, жена Эдика.

Она, верно, была убеждена, что уговорила меня, и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Делать нечего — надо идти.

Эджин — как и все мы в ту пору — снимал комнату в старом частном домике, однако обставлена она была уже вполне в современном духе: низкий чайный столик на тонких ножках, висячие книжные полки, мягкое чешское кресло, обтянутое бордовым плюшем.

— Из Москвы привезли, — кивнув на мебель, сказал Эджин. — А спинка кресла откидывается и получается кровать. Так что мы с вами можем пить без опаски: есть на чем спать.

Лида высоким ростом и еще чем-то неуловимым походила на Эджина, и я подумал: верно говорят — супруги после нескольких лет совместной жизни становятся похожими друг на друга не только внутренне, но и внешне.

На столе, как и обещал Эджин, рядом с бутылкой «Муската» дымился борщ в эмалированной кастрюле. Золотистая этикетка на бутылке — в медалях с выставок. Много всего было и сверх обещанного: колбаса, икра, крабы, туруханская селедка, огурцы — аккуратно нарезанные, аккуратно разложенные по тарелкам. И еще пол-литра водки.

Не было только Куба. Я почему-то полагал: обязательно Куба увижу у Эджина. Я даже думал, что соавторы вместе живут.

— Давай на «ты», — сказал Эджин, подняв рюмку с водкой.

— Давай, — согласился я.

— Плохой водки нет. Есть только хорошая и отличная, — неумело крякнув, произнес он.

Эту сентенцию, приписываемую одному загульному поэту, я уже слышал много раз. Эджину можно было придумать что-нибудь и самому.

Наступило молчание. Лида задумчиво рассматривала на свет рюмку с вином.

— Тебе в отдел правда нужен литсотрудник? — Эджин вдруг повернулся ко мне вместе со стулом.

— Правда.

— Возьми Куба. Талантливый парень. Горазд на всякую выдумку. Мы с ним вместе в заводской многотиражке работали. Такие материальчики выдавали — просто цимис!

Я заинтересованно слушал, и Эджин, ободрившись моим вниманием, доверенно положил руку мне на колено и продолжал:

— Только вот с семьей у Куба не все в порядке. Он ведь женат. Не совсем, правда, не расписан, но женат. Головой ручаюсь: у него это прочно, не шуры-муры какие-нибудь. Ее Валей зовут. Старше Куба. Но красивая, здорово сохранилась. Его старики считают: Валя — коварная соблазнительница, а Куб сам настоял, чтобы она ушла от прежнего мужа. Теперь старики как бы отреклись от Куба. Писем не пишут. Валя скоро приедет сюда... Надеюсь, у вас в редакции не ханжи сидят?

— Куб очень разбросанный, — сказала Лида, поглаживая пальцами рукав мужнина пиджака.— В голове тысяча идей, он за все враз хватается и ни одну не доводит до дела... Вам его придется перевоспитывать.

— Что ни говори, Куб — замечательный парень, — для пущей убедительности Эджин даже вскочил со сту-

ла и всплеснул руками. — У нас слагали о нем легенды. Однажды его чуть из института не вышибли. Да, да, было и такое. Куба за что-то поперли с семинара. Он разозлился и с такой силой саданул дверью, что в аудитории со стены оборвалась с грохотом большая карта. Сбежалось начальство. Дерзость, хулиганство! Мы все — за Куба: не нарочно, случайно, шнурок уже истлел и порвался от толчка.

И это спасло Куба.

— Куб мне нравится, — сказал я и заметил, что слова мои произвели на хозяев неблагоприятное впечатление: Эджин растерянно заморгал глазами, а Лида скептически скривила губы.

Больше я не пил, как меня ни уговаривали. Я уже понял: это один из тех ужинов, за которые потом расплачиваешься собственной совестью.

Наутро, прежде чем пройти в свой кабинет, я заглянул к Манефе, где в этот час собирались почти все заведующие отделами, — обменяться новостями, забрать свежие гранки, попросить места для гвоздевой информации, потрепаться, наконец.

Манефа, не ответив на приветствие, сунула в мою руку какую-то рукопись и сухо сказала:

— Выбрось в корзину.

Манефа не картавила. Значит — гневалась. Я развернул рукопись, прочитал: «В село приехал цирк».

— В чем дело?

— Я тебе сразу сказала: твой Ильф и Петров прощелыги.

— Они — директора!

— Они — прощелыги! Сегодня их зарисовку прочитали по радио.

— Вы, может быть, путаете?

— Ничего не путаю. Собственными ушами слыша-

ла: в безлюдную улицу въехал обклеенный разноцветными афишами автобус, мальчишки и девчонки кричали «цирк», а потом гроздьями повисли на деревьях...

В кабинете Манефы торчал Петр Евсеевич, приходивший на работу одним из первых. Он стоял у окна и, по привычке сцепив короткопалые руки на круглом животе, прислушивался к нашему разговору. Уши у него навострились топориком.

— Что-то такое про цирк слышал и я, — встрял он в разговор. — Ты потерял бдительность, Козлов. Это я принципиально говорю. Принципиально! — и, расцепив руки, поднял вверх указующий перст.

— Сейчас сам во всем разберусь,— пошел я к себе, однако у двери обернулся и полюбопытствовал ехидно:

— Ну как, приглашать их теперь к вам или нет?

— Боже упаси! — простонала Манефа.

В отделе раздеваться даже не стал — сразу за телефон. Трубку взял Куб. Голос по телефону у него гудел басовито, уверенно, начальственно и, если бы накануне я не познакомился с самим, то сейчас, наверно, представил бы его этаким кабинетным богатырем, под которым скрипят, расползаются казенные стулья.

— Что же вы, голубчики, подвели меня?

— То есть как так подвели?

— Хватит притворяться. Ты же знаешь, о чем я говорю.

— Ничего не знаю, — в голосе появились встревоженные, совсем не начальственные нотки.

— Может, чужой дядя отнес вашу зарисовку на радио?

— Куда?

— На радио. А сегодня утром передали ее. Несколько человек из редакции слышали.

— Честное слово, ничего не знаю, — выкрикнул Куб. — Впрочем, подождите, — и трубку на том конце провода или прикрыли ладонью или отложили в сторону; в глухом отдалении звучали спорящие голоса, но я не мог разобрать ни одного слова. Потом гаркнуло в ухо:

— Алло! Вы здесь? Мы сейчас придем.

Я ждал обоих — и Эджина и Куба, но пришел один Куб, приниженный, виноватый. С кончика толстого носа свисала капелька пота. Он снял очки и стал их протирать измятым носовым платком. Близорукие серые глаза слепо щурились, и мне, помимо воли, стало жалко парня. Я примирительно спросил:

— Вы с приятелем имеете хоть малейшее представление о журналистской этике?

— Да, да.

— Послушай, ты и в самом деле про радио ничего не знал?

— Нет. То есть знал, — замялся Куб.

— А по-моему, ты врешь. Зарисовку на радио отнес один Эджин. Может, даже не предупредив тебя. С двух мест гонорар немеревался выдоить. Так?

Куб испуганно дернул головой, надел очки и молча уставился на меня.

— Хороши друзья-соавторы! Порознь-то вы хоть что-нибудь пишете?

— Я пишу, — оскорбленно буркнул Куб. — Стихи...

— Вот как! Стихи! А Эджин?

— Прозу.

— Ну, ясно... Ты в самом деле хочешь в газете работать?

— А то как?

— Сможешь по нашей командировке съездить в район и написать очерк?

— Если это не шутка, — недоверчиво блеснул очками Куб.

— Приходи после обеда. Обговорим тему и получишь в бухгалтерии командировочные. Очерк должен быть совершенным. На уровне «Известий». Иначе дело не выгорит.

— А Эдька?

— Что Эдька? — не понял я.

— Он тоже рвется в газету.

— А пошел он подальше. Получи сейчас такое предложение твой Эдька, он бы и не вспомнил о тебе.

...Вот так я обрел себе литсотрудника и друга. А друг, говаривал кто-то из классиков, все равно, что лохань, в которую время от времени сливают помои. После встречи с Крапивиным у меня тоже возникла потребность излиться, и, прилетев в город, я поехал не домой, а прямо в редакцию.

Куб вдохновенно творил. Без пиджака, в голубых подтяжках, косматый, весь расхристанный. На столе перед ним — ворох исписанной бумаги. Отдельные листки валялись на полу... Впрочем, когда все это перепечатается на машинке, наберется не так уж много — две-три странички. Он и за столом махал, как маляр, не жалел бумаги.

Через раскрытую балконную дверь тянул сквознячок, пошумливал разбросанными листками.

Куб поднял голову и с минуту смотрел на меня из-под косм пустыми отрешенными глазами. Я снял шляпу, повесил, и тогда только он пришел в себя. Началось знакомое, привычное: выкатился из-за стола, ухватил обеими руками мою руку и, будто мы в самом деле не виделись лет сто, радостно тряс ее, заглядывал

в глаза, сыпал словами, одновременно спрашивая и рассказывая о себе:

— Ну, как? Что еще привез?.. Репортаж твой загнали в набор... Я тоже тут не спал! Видел? На две колонки. А вчера редактор подкинул новую тему...

— Видел. И приветик тебе привез от «уганских бюрократов»! Крапивин шлет.

— Рассвирепел?

— Похоже.

— Вот сукин сын!

— Еще неизвестно...

— Неужто я ошибся? Но я же...

— Полистай-ка вот эти бумаги,— и я протянул скоросшиватель.

Куб оторвался от меня и бросился со скоросшивателем снова к столу. Я вынул из тумбочки казенное полотенце и направился в умывальник. Там закрылся на задвижку, разболокся до пояса и не спеша стал сдирать с себя дорожную пыль. На душе было препогано, не так, как бывает с похмелья, а еще хуже. Вряд ли и Куб чем-нибудь поможет. Горячая голова! Встанет горой за меня, за Татьяну, придумает какой-нибудь выход, но это будет совершенно не то, не то...

Ну да, как и предполагал, Куб уже весь кипел благородным негодованием:

— Ни одному словечку не верю! С первого взгляда ясно — липа! Посмотри, как ухожены эти записочки: скреплены, пронумерованы, заверены... Так лишь завзятые кляузники работают!.. Послушай, отдай-ка мне их, всыплю этому прохвосту по первое число!

— Не горячись, Саня. Дело не простое.

— Куда уж проще: во что бы то ни стало намерен примазаться к чужому открытию.

— Ну, Саня, так не пойдет. А вдруг это Татьяна?

— Не верю!

— Да и я не верю. Однако сам я от нее об этой сволочной истории не слышал ни разу.

— Фу ты черт! — смутился Куб. — Зачем нам базар с тобой разводить? Поговори с Танькой. Она тебе все расскажет, как на духу. Конечно же! А то даже как-то неприлично получается — за ее спиной.

— Ладно, — согласился я.

В это время задребезжал телефон.

Я подошел к столу, снял трубку и услышал перепуганный женский голос:

— Витя?

— Да.

— Ваша жена в лапах моего мужа! — голос истерично всхлипнул. — Бегите скорее домой!

— В каких лапах? Кто говорит? — крикнул я, чувствуя, как самого меня охватывает паника. Но на другом конце трубку уже бросили.

«Кто звонил? Чей муж? Разве Татьяна дома? В такое время она всегда бывает в институте. Что за идиотские шуточки!» — ломал я голову.

— У тебя неприятности? — спросил Куб, озабоченно вглядываясь в мое лицо.

— Ерунда какая-то, — сказал я, однако тут же засобирался домой. — Сегодня, наверно, больше не приду.

— Конечно, после командировки надо отдохнуть.

Из кабинета я вышел не торопясь, но уже по коридору припустил бегом, и с каждым шагом все сильнее овладевал мной панический страх, лоб покрылся холодной испариной — что там?

Такси на улице не было. Автобус ускользнул перед самым носом. Следующий подойдет минут через десять. В моем направлении катил грузовик. Я спрыгнул с тротуара и поднял руку.

Грузовик затормозил, высунулся из окошка лупоглазый шофер.

— Подвези! Вот как нужно! — взмолился я и провел рукой по горлу.

Тополь у нашего дома уже убрали, опилки смели. В палисаднике, словно вставные зубы, белели новые доски. Я заскочил в подъезд и остолбенел. Дверь в квартиру была открыта. Молнией сверкнуло давнее воспоминание: целый день мы провели на людях, истомились друг по другу, к дому подъехали в темноте, я поднял Татьяну на руки, внес в квартиру, а когда мы через час остыли, успокоились и я пошел закурить — все двери вот так же были настежь: в коридор, на лестницу.

Кто там теперь? Баженов? Я подумал о старике Баженове, хотя и не укладывалось это в голове.

В гостиной на столе валялась Татьянина сумочка. Из спальной доносился шорох. На миг испугавшись и того, что мог увидеть, и своей жуткой решимости, я шагнул туда.

Татьяна стояла перед письменным столом и, шевеля губами, пересчитывала деньги. Вот так просто стояла и перебирала пальцами новенькие рубли — я не верил своим глазам. Потом она вздрогнула и повернулась ко мне:

— Ой, как ты напугал!

— Почему дверь открыта?

— Забежала на минутку за деньгами. Надо костюм выкупить, с портнихой договорилась.

Я без сил опустился на кровать. Меж лопатками ручьем бежал холодный пот.

— На тебе лица совсем нет...

— Укачало, наверно.

— Слабак, — поверила Татьяна. — Не сходишь ли

со мной к портнихе? Может, что не так — со стороны виднее. А в этом костюме мне все-таки защиту держать.

— Подожди немного.

Я поднялся, вышел на слабых ногах в коридор и там, презирая себя за пережитый страх и еще нерассеявшуюся подозрительность, заглянул в кладовку, кухню, ванную — нигде никого не было. Ах, что за гад звонил! За такие штучки голову оторвать мало!

Но уже через пять минут я совсем успокоился. И не просто успокоился, а даже повеселел: после всего пережитого та, другая неприятность, заключенная в папке, показалась сущей безделицей. Вот так — клин клином вышибают!

Портниха у Татьяны — редкостная. В прошлом по молве сама первостепенная красавица, теперь она и шила только на красивых женщин. Какой-нибудь толстушке у нее нечего было и делать — самую выгодную работу отклонит. К Татьяне же сама однажды подошла на улице, предложила сшить платье: есть-де один интересный фасончик, в самый раз по фигуре...

Иссиня-черный, в талию, с узким вырезом на груди, костюмчик был одновременно и строг и вполне элегантен — как раз то, что требовал момент. Я так и сказал и еще добавил:

— Никто и не подумает, что ты еще не защитила диссертацию.

Портниха, сложив на груди руки, откровенно любовалась своим творением. В конце концов и Татьяна согласилась — лучше некуда!

Потом у Татьяны весь день было хорошее настроение. Мне совершенно не хотелось его портить, и разговор о Крапивине я тянул до самого последнего момента. Уже Маринка посапывала в своей кроватке, уже Татьяна готовилась ко сну, накручивая бигуди, когда я, наконец,

решился. С поднятыми к голове руками Татьяна так и застыла, замерла на стуле.

— Почему ты сразу не сказал? — после долгого молчания с укором спросила она.— Я ведь почувствовала: не с хорошим приехал. Еще когда только вошел... Ах, что ему от меня надо? Диссертацию зарезать — не выйдет! Месторождение отобрать — тоже не выйдет! Он на него не имеет никакого права! Палец о палец не ударил! Я всем могу доказать... Баба какая-то! И штучки бабские — жалобы, письма, доносы. А теперь вот в редакцию...

— Мне он тоже не понравился,— вставил я.

— Что вы с его досье будете делать? — не слушая меня, спросила Татьяна.

— Разбираться...

— Ах, еще и разбираться, проверять! Значит, ты мне нисколько не веришь!

— Ты передергиваешь... Я же сказал — Крапивин мне не понравился, внушают подозрение и его претензии. Помоги нам восстановить картину открытия, и мы ему ответим полным голосом. Через газету... Самому, правда, неудобно браться за это дело, но Куб так и рвется в бой.

— Вот как! Ты уже и Куба посвятил! Очень мило!

— Куб наш друг.

— У нас много друзей, и всем, значит, болтать... А знаешь, какая бывает реакция у мещан: нет дыма без огня, если уж пошли письма, дело — темное, нечистое.

— Куб не мещанин.

— Знаю я вас... Ты ведь тоже не веришь. Тоже сомневаешься. Тоже считаешь: нет дыма без огня, — Татьяна вдруг всхлипнула и ожесточенным тоном продолжала.— Иначе бы и папку швырнул в лицо этому негодяю

и Кубу бы ничего не рассказывал. Может, завидуешь? Как и другие, хочешь погубить меня?

— Танька, милая, успокойся,— растерянно проговорил я, подходя вплотную к жене.

Я попытался погладить ее по волосам, но она с силой оттолкнула мою руку и крикнула:

— Не прикасайся... Ненавижу.

Потом сорвала с кровати верхнее одеяло, схватила подушку, вышвырнула их в другую комнату. Значит, спать мне на диване, в одиночку.

До полночи лежал я с открытыми глазами, клял себя, что так неосторожно внес в Татьянину жизнь смуту и тревогу. Да еще когда — перед самой защитой. Тоже нашелся следователь! — ругался я сквозь зубы.

В окно лился голубоватый свет. В спальной стояла тишина. Уже за полночь вдруг скрипнула дверь. Я повел глазами и увидел Татьяну; кожа ее отливала голубизной, а сама она вся походила на длинную прекрасную рыбу, плывущую в голубой воде. Я подвинулся к стенке. Татьяна скользнула под одеяло, прижалась к моему лицу, прошептала, дрожа:

— Мне страшно, Витя... Страшно!

Эту ночь я припрятал в копилку, где хранились самые прекрасные мгновения моей жизни,— что-то из детства, что-то из студенческой юности и очень многое из того времени, которое я прожил вместе с Татьяной.

«К черту Крапивина! К черту! Завтра же отошлю ему папку!» — засыпая, думал я.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Иван Гордеевич склонился над крапивинскими документами и, пока не дочитал их до конца, ни разу не поднял головы. Я смотрел на серый от седины ежик волос,

на желтую металлическую оправу очков и с беспокойством гадал — какое же впечатление они произведут на редактора.

Для меня Иван Гордеевич был воплощением здравого смысла. Не того здравого смысла, который осторожничает, лукавит, обходит острые углы, а того, который докапывается до сути вещей и явлений самыми простыми средствами. И если он сейчас поверит бумажкам, значит, им стоит верить, и Татьяны дела плохи.

Когда я впервые увидел Ивана Гордеевича, то растерянно подумал: какой же это редактор? Темным крестьянским лицом, очками в немодной оправе, дешевым костюмом, полосатой рубашкой он походил на кого угодно, только не на редактора областной газеты, в которой — успел обратить я внимание, перелистав подшивку,— выступали и писатели, и артисты, и лауреаты. Как же он, такой невидный и простоватый, разговаривает с ними? Я был растерян, сбит с толку. Только позднее понял: причиной тому был не столько сам Иван Гордеевич, сколько мое школярское воображение, воспитанное в университете «от» и «до»: артист — непременно с черной бабочкой под выбритым подбородком, капитан — с шевронами на рукавах, рабочий — в замасленной кепочке, а человек с обличьем Ивана Гордеевича по этим несложным канонам мог только быть председателем колхоза или бухгалтером и никем другим... Скоро мне пришлось расстаться с подобными представлениями о людях. Благословенна жизнь, развеивающая по ветру мертвые семена учения!

Тогда, пять лет назад, между нами произошел следующий разговор:

— Писать-то вы умеете? — спросил Иван Гордеевич, поигрывая длинными ножницами, напоминающими две скрещенные шпаги.

— Писал на практике.

— Получалось?

— Печатали.

Весь мой литературный багаж — тонкая пачка газетных вырезок — помещался в нагрудном кармане. Я вынул их.

— Оставьте. А сами идите погуляйте. Познакомьтесь с городом. Вечером заходите.

Город мне понравился с первого взгляда. Много было старинных домов, украшенных резьбой и лепкой, с толстыми стенами, окна в которых напоминали крепостные амбразуры; египетской пирамидой возносилось к небу здание городского музея; на его розовых наклонных стенах темные длинноногие египтяне мотыжили землю, выделывали папирус, ловили рыбу, метали друг в друга остроконечные копья — во всем читалась история и традиция, и мне, не представлявшему литературное творчество на земле без традиций, без своих достопримечательностей, без своего протопопа Аввакума, особенно радостно было найти все это в городе, в который я приехал с немалыми надеждами.

А город разворачивался дальше, пленяя на каждом шагу новыми и новыми подробностями. Оказалось: со всех сторон он охвачен горами. Зеленые, увалистые, с каменистыми кое-где вершинами, они виднелись с каждой улицы. Я решил проверить себя и нарочно заворачивал в самые глухие переулки, и не было ни одного такого, чтобы и там не нашел прозора, через который бы, заслоняя горизонт, не зеленели кусочки склонов. Я забывал, где нахожусь, забывал об обступивших меня каменных домах, о твердом асфальте, и мне казалось: я — там, в горах, и дышу их разреженным холодящим воздухом.

Глазея поверху, я неожиданно вышел к реке.

В крутых берегах мощно, накатисто, всей огромной шириной и глубиной неслась тугая вода, вся она еще

бродила, дышала, пенилась силой и разгоном, набранными за тысячу верст на горных падунах, и чувствовалось: силы и разгона хватит ей до самого океана.

По быстрине против течения с трудом тащился белый электроход. С его палубы долетала до берега веселая музыка.

Потом я очутился на пристани. Целыми кварталами здесь стояли штабеля из ящиков, мешков с мукой — в узких проходах между ними легко заблудиться! Грузчики, белые от мучной пыли, с белыми бровями и ресницами, в матерчатых шлемах с широкими наплечниками, чтобы мука не сыпалась за ворот, таскали мешки по качающимся деревянным мосткам на самоходную баржу под названием «Северянка». В ночь «Северянка» уйдет на Север, самый что ни на есть настоящий Север — ах, ты, черт подери, какие дали!

Но чем больше захватывал город, тем безнадежнее представлялись мои дела. Я вспоминал статьи, оставленные у редактора, и уже не гордился ими, а, наоборот, мучился оттого, что они казались теперь мне недостойными ни этого города, ни его прекрасной реки... Прочитает одну и дальше смотреть не станет, швырнет вырезки в плетеную корзину, стоявшую под боком наготове. Писал я тяжело. Каждую фразу складывал, обливаясь потом. И знал: смогу чего-нибудь добиться лишь в том случае, если не стану себя воображать легконогой ланью или птахой небесной, а буду помнить: я всего-навсего чернорабочий вол и потому, как вол, должен изо дня в день пахать, пахать и пахать. Я был готов к этому. Но поймет ли меня человек с темным крестьянским лицом?

К концу дня я совсем упал духом... Не примет — пойду в грузчики, думал я. Это мое наследственное призвание и выше, верно, никуда не прыгнешь. Куплю себе матерчатый шлем с наплечниками и буду таскать на баржи

мешки с мукой. Такая перспектива ничуть не пугала: любая физическая работа — переносить грузы, пилить, колоть дрова, метать сено — была для меня по сравнению с творческими муками вроде легкой разминки.

Вечером я снова сидел перед Иваном Гордеевичем и с похолодевшим сердцем ждал приговора. Длинные ножницы лежали в покое.

— Слов на ветер не бросаешь,— сказал Иван Гордеевич, и я не сразу понял, хорошо это или плохо, хорошо или плохо «ты», с которым он ко мне обратился, а Иван Гордеевич, приспустив по-стариковски очки, взглянул поверх них и неожиданно спросил:

— На отдел пойдешь?

— То есть как на отдел?

— Заведующим.

— Мне бы литсотрудником,— все еще ничему не веря, робко попросил я. — Поучиться.

— На большом деле скорее выучишься... Высоких талантов в твоих статьях я пока не обнаружил. Видимо, все впереди. Но мне нужны свежие люди, ибо время такое, свежее, и общими словами о нем не отделаешься. Надо разбираться, анализировать. С умом и сердцем. А кое-кто из старых газетчиков на это уже не способен... Даю тебе отдел культуры и быта. Литсотрудника нет, сам подберешь. Связывать не стану... Где остановился?

Я пожал плечами — не знаю пока.

— Поживешь у меня.

Две недели я жил у Ивана Гордеевича. В один из тех дней он повел меня в обком партии, на бюро, для утверждения в должности заведующего. В вестибюле, у маленького окошечка с полкой, выписал для меня пропуск, потом провел по лестнице мимо двух милиционеров-женщин на третий этаж и, оставив в приемной первого секретаря, исчез за обшитой светлым деревом

дверью. Вскоре позвали меня. Из-за волнения ни одного лица не мог признать в многооконном кабинете; сидели за столом в глубине, сидели вдоль стен на стульях, ко мне отнеслись со вниманием и вежливостью, но задавали и неожиданные вопросы: «Почему не женат?», «Почему не в партии?» Потом попросили выйти.

Оглушенный, я еще с полчаса торчал в приемной, ждал Ивана Гордеевича. Наконец, вышел он и сказал буднично:

— Иди работай. Утвердили.

Вот такой человек был наш редактор.

Сейчас он страница за страницей листал дело, грозившее мне бедой, и я ни на минуту не сомневался, что он увидит его таким, каким оно есть в действительности, не преувеличит в размерах и не преуменьшит, очень полагался на его добрый здравый смысл. Однако беспокойство не оставляло...

...Иван Гордеевич захлопнул скоросшиватель и, обхватив рукой подбородок, раздумчиво потеребил его.

— Мда, — сказал он. — Запутанная история. Без пол-литры не разберешься.

— Уже пробовал с пол-литрой — не получается.

— А что говорит жена?

— Настаивает на своем.

— Видно, третейский суд нужен. Давай-ка пошлем папку в геологическое управление. Там специалисты. А?

— Я бы сам хотел разобраться.

Иван Гордеевич снова потеребил подбородок, подумал:

— Не возражаю. На мой взгляд, события восстановить нетрудно. С Татьяной ведь четыре студента были. Вот и разыскать их, побеседовать. Не мешает сходить в геологическое управление. Поинтересоваться точкой зрения специалистов. Подумай и над смыслом слова «пер-

вооткрыватель». Первый, значит. А вот Крапивин пишет: первым нашел гальку какой-то охотник. Я не умаляю заслуг Татьяны, но читателям, доведись печатать материал об открытии, интересно узнать и об этом охотнике.

— Будет сделано,— сказал я бодро.

Однако мой тон не обманул Ивана Гордеевича. Приспустив по привычке на нос очки, он испытующе посмотрел в мое лицо и произнес:

— А ты не кисни. Не дадим жену в обиду.

Выйдя от редактора, я хотел было немедленно отправиться выполнять его поручение и уже прикидывал в уме, с чего лучше начать — с института или с геологического управления, но в коридоре меня перехватил Куб.

— Где тебя носит? С ног сбился — ищу!

— Зачем?

— К телефону. Женщина какая-то. Я говорю: позже позвоните, а она, видите ли, позже не может.

«Вчерашняя!» — решил я и побежал в отдел.

— Слушаю,— сказал я и с силой вдавил трубку в ухо, чтобы не пропустить ни одного звука: надо было во что бы то ни стало узнать голос.

— Виктор Степанович?

— Я.

— Здравствуйте, Витя. Это Алевтина Васильевна Баженова. Удивлены?

— Нет, не удивлен,— мрачно признался я, намекая на вчерашний звонок. Но Алевтина Васильевна никак не среагировала на мое признание, да и голос ее, веселый и певучий, совершенно не походил на вчерашний; вчерашний задыхался от страха и ярости.

— Витенька,— играя голосом, говорила Алевтина Васильевна,— мне очень, очень нужно вас видеть!

— Я к вашим услугам. После работы могу подождать в редакции.

— Не-ет, я хочу вас видеть немедленно.

— Приезжайте сразу.

— О, Витя, вы не слишком любезны. Я ведь все-таки женщина. Не лучше ли вам ко мне приехать?

— Договорились,— согласился я, надеясь при встрече выяснить тайну вчерашнего звонка.

Баженовы жили в студенческом городке, выросшем недавно в стороне аэропорта, на берегу реки. Городок состоял из учебных корпусов двух институтов, горного и индустриального, студенческих общежитий и домов для профессорско-преподавательского состава. Учебные корпуса еще стояли в лесах, студенты пока занимались в старых зданиях, а общежития и преподавательские дома уже были заселены, и в этот солнечный день почти изо всех подъездов шумными толпами вываливали девушки и парни, в майках, сарафанах, с мохнатыми полотенцами через плечо, бежали по коротким улочкам к реке. Река текла внизу, под обрывом. По веселым гудкам пароходов, по ликующему крику купающихся можно было догадаться, какой там творится праздник.

А меня лето обходило стороной. И река, и шальное солнце, и хвойный запах сосен, выстроившихся по кромке берегового обрыва,— все это сегодня было для других, беззаботных и праздных, а для меня — сумрачный, со сквозняком подъезд, в которой, помешкав, я и вошел.

Там на всех дверях тускло поблескивали латунные пластинки с фамилиями жильцов. Такая же пластинка, только поновее,— и у Баженовых. Углубления букв еще не успели позеленеть, не далее как год назад трудился над ними гравер, однако в конце слова «профессор» стоял твердый знак. Он, вероятно, призван был указать на то, что в квартире наследуют старинную русскую

культуру. Я не сомневался: и сама пластинка и твердый знак — затея Алевтины Васильевны, ревностно относящейся к тому, что называется «поддержать соответствующий тон».

На звонок вышла хозяйка. Несмотря на полдень, шелковую косынку на голове распирали по бокам бигуди.

— Шустрый вы,— с одобрительной улыбкой проговорила она, придерживая у груди халат.— Не успела даже переодеться. Посидите пока в кабинете Глеба Кузьмича.

В квадратную прихожую выходили четыре двери: одна, справа,— из кабинета профессора, другая, слева, — из кухни, и две, прямо,— из столовой и детской. Из кухни выбежали дочери Алевтины Васильевны — Людмила, Руфина и Светлана — и, окружив меня, наперебой засыпали вопросами:

— А где Татьяна Сергеевна? Где Маринка? Почему давно не приходили?

— Маринка в яслях. Татьяна на работе, а сам езжу по командировкам,— ответил я.

Сестры на редкость были разные — и внешностью и характером. Людмила, старшая,— смуглая, широкоскулая, со слегка раскосыми глазами. Ни дать ни взять — азиатка. Держалась всегда настороженно, замкнуто, будто от каждого ждала какого-нибудь подвоха. Пятиклассница Светлана, напротив, вся — как русская полевая ромашка: пухленькая, белокожая, со светлыми взлохмаченными волосами, и в ее голубых глазенках — незамутненное доверие к жизни. Руфина, средняя, вобрала в себя понемногу от той и другой: черные волосы, зато светлая кожа, не шибко бойкая, но и не замкнутая, как Людмила.

Мне нравилось поддразнивать настороженность старшей. И сейчас я не утерпел и поинтересовался:

— Ну как, коллега, над твоей кроватью все еще висит портрет Евтушенко? Не сменила?

— Нет,— ежиком ощетинившись, фыркнула Люся.

— Уж не влюблена ли ты в него?

— Безумно.

— А это тебе не помешает выйти замуж? Какому парню понравится, если над кроватью девушки висит портрет другого?

— А я и не собираюсь замуж. Все парни — паразиты. Идиоты и паразиты.

С Людмилой у меня особые отношения. Она училась на первом курсе пединститута на филфаке, но мечтала не о школе, а о работе в газете, и тайно печатала у нас небольшие заметки о студенческой жизни, подписывая их разными псевдонимами.

...Из столовой, приоткрыв дверь, просунула голову Алевтина Васильевна, уже причесанная, но по-прежнему в халате.

— Девочки, не приставайте к Виктору Степановичу! Делать нечего? Марш в кухню домывать посуду!

— Мы — не рабы! Рабы — не мы! — дружным, хорошо отрепетированным хором выкрикнули девочки и, прыская на ходу, убежали в кухню.

Самая большая комната в квартире — с двумя в ряд балконами на реку — служила одновременно домашним кабинетом и спальней супругов. Время от времени захаживая к Баженовым, я с интересом наблюдал развернувшуюся в ней войну между броскими затейливыми вещицами Алевтины Васильевны и строгими незаметными рабочими принадлежностями Глеба Кузьмича. Настоящее сражение! Книги на полках, перед ними — камни, и не самоцветы какие-нибудь, а совершенно непритязательные угловатые камни, вероятно, памятные чем-то хозяину, груды рукописей и чертежей на письменном

столе, грубо-шершавые лосиные рога над диваном, двустволка с облезлым прикладом, медвежья шкура в ногах под столом — все это его, а ее — сам диван с десятком подушечек, расшитых петухами, собачками, танцующими лягушками, туалетный столик с баночками, флакончиками, коробочками, тюбиками. Матрешки, слоники, фарфоровые безделицы...

В бескровном, но отчаянном сражении вещи Алевтины Васильевны последнее время брали верх. Баночки, скляночки, фарфоровые куклы, матрешки, слоники уже заступили на книжные полки и заставляли жаться по углам убогие камни. Сегодня я предполагал увидеть полную победу дамских безделушек и необыкновенно удивился, не обнаружив их совсем. Правда, туалетный столик с зеркалом оставался на месте, но совершенно пустой, и на полках перед книгами просторно лежали одни камни, даже подушки с вышитыми собачками и танцующими лягушками исчезли с дивана. Я не верил своим глазам — несметные полчища Чингисхана оставили поле битвы!

Я был так поглощен своими наблюдениями, что даже не слышал, как в комнате появилась Алевтина Васильевна.

— А вот и я! — с веселостью сказала она.

Я обернулся. Времени Алевтина Васильевна зря не теряла: переоделась в бордовое платье, припудрилась.

— Девочки,— крикнула она в прихожую,— можете сходить на реку. Отпускаю.

Издали ответил античный хор:

— Мы — не рабы, рабы — не мы!

И тотчас в прихожей раздался топот, зазвенели голоса: девочки спорили из-за полотенец — кому взять махровое, кому простое. Стукнула дверь. И лишь после этого Алевтина Васильевна опустилась на диван.

— Простите, ждать заставила,— сказала она, безуспешно пытаясь натянуть на круглые колени подол платья.— Садитесь рядом.

Я послушался.

— Кажется, в командировку ездили?

— Да.

И Алевтина Васильевна замолчала, потупившись. Ее гладкая, чистая рука машинально скользнула по бархатной накидке, оставляя после себя темную дорожку. Дорожка тут же светлела и скоро исчезала совсем — распрямлялся примятый ворс.

«Она, она звонила!» — думал я, следя краем глаза за игрою красок на накидке.

Алевтина Васильевна, наконец, подняла глаза, виновато улыбнулась и сказала со вздохом:

— Не умею дипломатничать. Уж буду напрямик.

— Я тоже не дипломат,— сухо ответил я, чувствуя, как смятение, тревога Алевтины Васильевны переливаются в меня.

— Вы с Таней хорошо живете?

— Почти.

— Не имеете секретов друг от друга?

— Кто его знает?

— Таня вам ничего не рассказывала про Глеба Кузьмича? Ну, что-нибудь такое?..

— Не понимаю.

— Видите ли, он работает в окружении молодых женщин. Ученицы, аспирантки, лаборантки. Хотя сам уже почти старик, но можно ли полагаться? Чужая душа потемки.

— Нет, о таком не рассказывала,— не сморгнув глазом, утаил я правду.

— Я с вами совершенно откровенна. И, надеюсь, разговор останется между нами.

— Разумеется.

— Я давно не узнаю Глеба Кузьмича... Иной раз взглянет, будто иглой прошьет: чужая, чужая! Да только ли в этих взглядах дело! Посмотрите,— и она обвела рукой комнату, разрешая мучившую меня загадку,— врозь живем! Заставил перебраться в столовую. Мол, на работе устает, дома допоздна над книгой засиживается. Главный труд жизни!.. Раньше почему-то не мешала. Вот и думаю: дело тут не в книге. Встрял кто-то между нами.

Я облегченно вздохнул: уф-ф, ложная тревога! Ничего нового. Не ведает даже про то, что известно мне. Небрежно спросил:

— Почему вы не верите в книгу? Такая работа с головой засасывает. К тому же возраст... Сами сказали.

— Ха-ха! — саркастически рассмеялась Алевтина Васильевна.— Его еще хватит. Пожиже развести — на всех учениц хватит! Знаю, не первый год живем.

Алевтина Васильевна встала с дивана, прошлась по комнате, нервно заламывая пальцы,— стройная, молодая со спины, а ей, наверно, уже за сорок перевалило.

— Конечно, куда мне по сравнению с теми?.. Старая, изношенная, малограмотная. Всего семь классов. Как ни подкрашивайся, а молодости и образования не прибавишь. Но ведь в свое время не побрезговал ничем. Ни семью классами, ни двумя дочерьми. Сам был никто — не у шубы рукава. Кому такой нужен? Только мне понадобился — дура баба! А теперь на коне. Нарасхват. Можно и забыть про старое.

У Алевтины Васильевны черным потекли ресницы. Она вынула из-под рукава платочек, осторожно промокнула под глазами.

— Вот так-то, Витя. И скажи, могу я отдать его?

Насчет себя я уже совершенно успокоился. Теперь мог посочувствовать и Алевтине Васильевне. Интуиция ее не

обманывала: между ней и мужем действительно стояла женщина. И не какая-нибудь таинственная незнакомка — Татьяна. Мне это было давно известно, и опасного в том для себя я ничего не видел. Ну, что опасного, если в жену влюбился пожилой человек, почти старик, а сам ты молод, полон всяческих сил — пожалеть лишь надо такого старика! Вначале испугался оттого, что на мгновение почудилось: Алевтина Васильевна проведала о чем-то грозном... А на поверку — одни сомнения: почему Глеб Кузьмич предпочитает жить врозь? Все же остальное — догадки, подозрения. Она и Татьяну подозревала и, возможно, больше других сотрудниц, но вчера звонила наобум: напугать, предостеречь, насторожить — вдруг в самом деле...

...Стояла осень. Татьяна прилетала из Уганска. Как раз после своего блестящего открытия на Шамансуке. В городе о нем уже прослышали. Забрав раньше времени из яслей Маринку, я приехал с ней в аэропорт. Прибыло туда и семейство Баженовых. Девочки тотчас отобрали у меня дочь и, передавая из рук в руки, стали таскать по вокзалу. Я ходил следом, опасаясь, как бы не уронили. Наконец, Маринка надоела им, и, хором выкрикнув: «мы — не рабы, рабы — не мы!», они отпустили ее.

Алевтина Васильевна, одетая по-зимнему, в беличьей дошке, сидела в зале ожидания. Баженов бродил по перрону. Взяв за руку Маринку, я тоже вышел на волю. Летное поле простиралось за серебристой изгородью. Там ревели самолеты, крутились воздушные вихри, двигались трапы и пузатые, с красными полосами по бокам бензовозы.

Падал снежок. Сухой и пресный. Он жил только в воздухе, а прикоснувшись к хранившему летнее тепло асфальту, тотчас умирал, оставляя после себя малюсенькие, вроде слезинок, следочки.

Баженов, высокий, сутуловатый, с запавшими бледными щеками и сухими твердыми скулами, ходил взад-вперед по длинному цементному крыльцу, держа в изуродованной руке — последствие обморожения во время экспедиции — неловко зажатую папиросу. Порой он совал ее в рот и жадно, по-рабочему затягивался. Щеки западали еще сильнее.

Я не решился его беспокоить: пусть себе размышляет.

На асфальтированную полосу скользнул сверху очередной самолет, и Баженов, отбросив окурок, сошел с крыльца, положил искалеченные руки на изгородь — и на другой недоставало пальцев — и стал следить за тем, как самолет выруливал к перрону, как к нему подкатился трап, раскрылась овальная дверца, и вниз по трапу потекли неспешно, словно разминаясь после долгого сидения, пестрые пассажиры. Вот и последний ступил на землю, опустел трап. Баженов полез в карман, вытащил новую папиросу, щелкнул зажигалкой и, не замечая меня, опять заходил взад-вперед.

Самолеты садились большие, а из Уганска мог прилететь только маленький — «ЯК-18» или «АН-2», других тамошний аэродром не принимал.

Наше ожидание кончилось ничем. Объявили по радио: ввиду сильных снегопадов в горах рейс из Уганска отменен.

Баженовы уговорили меня переночевать у них: завтра надо снова ехать в аэропорт, а они живут рядом.

Маринку на ночь девочки унесли в свою комнату. Для меня постель была устроена на диване в кабинете. Алевтина Васильевна спала в столовой.

Рано утром меня разбудили неясные голоса, доносившиеся из прихожей. Я приподнял голову, прислушался — не Татьяна ли? Нет, вроде не она: ни один из голосов не походил на ее. Наверно, молочница.

Баженов в своей кровати тоже приподнялся на локте и слушал. Вдруг его точно током пронзило: блеснули светлые глаза, на скулах выбрызнула краснота. Он рывком скинул одеяло, спустил на пол ноги и, торопясь, принялся одеваться; сироты-пальцы плохо слушались, никак не могли попасть ремнем в пряжку. В первый раз я видел профессора таким взволнованным, торопливым. Перестал даже узнавать его.

— Татьяна Сергеевна! — недоброжелательно блеснул он глазами в мою сторону.

«Как бы не так! — усмехнулся про себя.— Я не узнал, а он узнал. Черта с два! Молочница. И напрасно суетится».

А Баженов по-прежнему торопился, нервничал. Вот надел на босу ногу растоптанные шлепанцы, но тут же сбросил их и, присев на кровать, принялся натягивать носки. На ногах тоже не хватало пальцев, вместо них багровели коротенькие комельки.

«Почудилось старику. Да и самолету еще рановато»,— отчего-то сердился я, однако тоже выбрался из-под одеяла: неловко лежать в постели, когда хозяин уже на ногах.

Баженов убежал. Потом и я, все еще сомневаясь, босиком вышел в прихожую.

Но это была все-таки она! Татьяна! У меня неприятно обмерло сердце. Нет, не при виде ее, загорелой, раскрасневшейся с мороза, с выбившимися из-под вязаной шапочки короткими волосами, опять неожиданно новой, полузнакомой — такой я ее и ждал! Сердце обмерло от озарения: Баженов любит ее.

Людмила, в халатике, стаскивала с Татьяны капроновый ватник, превратившийся за пол-лета из серого в черный. Алевтина Васильевна, тоже в халате, сокрушенно качала головой и отчаивалась: ах, как же это все проспали и не встретили!

Татьяна, увидев меня, родственно улыбнулась, хотела что-то сказать, но нас отгородил друг от друга Баженов.

— Рад, рад. Поздравляю. Позволь уж по-отцовски,— и он мягко и бережно обхватил беспалыми, в шрамах, руками Татьянину голову и прикоснулся губами к ее виску!

Я ждал, что Баженов отойдет в сторонку, даст возможность и мне обнять жену, но он взял ее под руку и повел в свой кабинет, говоря на ходу радостным голосом:

— А теперь, Танечка, ко мне, ко мне... Такое открытие случается раз в десятилетие, и я о нем должен знать все!

В дверях Татьяна обернулась и чуть заметно пожала плечами: мол, ничего не поделаешь, учитель, нельзя ослушаться. Потом, как бы подбадривая, улыбнулась: потерпи, дружок, скоро досыта наговоримся.

Потерпи, потерпи... А ботинки остались под диваном в кабинете.

По холодящему полу я прошел в кухню и, подобрав под себя босые ноги, устроился на стуле. Меня разбирала досада: Баженов, а не я первым узнал Татьянин голос, Баженов, а не я одевался с такой лихорадочной торопливостью, чтобы выбежать ей навстречу, и теперь опять же он — не я — сидит с ней наедине в кабинете, любезничает, старый хрыч...

Только любовь могла так обострить его слух... Угрожает ли она моему существованию? Может, и не любовь вовсе, а некое отцовское чувство, нередко появляющееся у людей его возраста к молодым способным ученикам? Тогда и беспокоиться не из-за чего. Привязан же он к двум неродным дочерям, почему бы не привязаться и к третьей, чуть постарше их?

Баженов с Татьяной освободились через час. Алевтина Васильевна и Людмила накрыли к тому времени стол.

Я сходил в кабинет и обулся.

Потом все мы — и девочки тоже — сидели за столом; пили дорогое вино. Я держал на коленях Маринку, отвыкшую за пол-лета от матери и поглядывавшую на нее с испуганно-радостным любопытством — вроде знакомая, кровная, но боязно.

Баженов, до лоска выбритый, в черном костюме, белой сорочке, походивший сухим лицом и высокой костистой фигурой на пожилого Нансена, молодо блестя светлыми глазами, рассказывал веселые истории, а я смотрел на Алевтину Васильевну, на ее дочерей и пытался понять, подозревают ли они об источнике его вдохновения? Смотрел на Татьяну — сознает ли она, какое чувство витает сейчас над ней? Но на всех лицах — безмятежность и доверчивость, на всех лицах — интерес и внимание к словам рассказчика.

Близко к полудню Баженов вызвал по телефону такси.

В машине Татьяна придвинулась ко мне — в голову ударил лесной запах ее волос, взяла за руку и сказала счастливо:

— Вот мы и одни. Не чаяла, как и выбраться.

А перед моими глазами все еще стоял Баженов, взволнованный, непривычно суетливый.

Я спросил:

— Тебе не кажется, что старик влюблен в тебя?

— Давно знаю.

— Знаешь!? Откуда!?

— Сам открылся.

И во второй раз за день у меня обмерло, остановилось сердце: если бы я не сидел, а стоял, то, наверно,

упал бы. Я высвободил свою руку из Татьяниной и теснее прижал к себе Маринку, мне вдруг отчего-то стало жалко-жалко девочку.

— Как открылся? — осипшим голосом спросил я.

— Обыкновенно. Любит. Жить без меня не может.

— А ты?

— Фу, дурачок! Зачем он мне?

Мы замолчали, и, как дым, улетучивалось из машины чувство родности, еще минуту назад связывавшее всех троих — Маринку, Татьяну и меня — в одно целое.

— Послушай, Таня. Это гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Старик в тебя по уши... Я сегодня наблюдал за ним. А ты продолжаешь встречаться, ходишь к ним. Боюсь, может плохо кончиться...

— А что я должна делать? Бросить аспирантуру?

— Хотя бы не ходить к ним. А вдруг обнаружится? Как тогда на тебя посмотрит Алевтина Васильевна? Девочки?.. Не простят, возненавидят на всю жизнь. Ведь ты же их попросту грабишь.

— Глупости! Ничего не обнаружится. Баженов — сама сдержанность.

— Хм! Сдержанность! Утром от радости совсем потерял голову, словно мальчишка, прыгал вокруг тебя.

— Да? — удивилась Татьяна, и на ее губах промелькнула удовлетворенная улыбка.

— Чему радуешься? — рассердился я.

— Но я же не виновата, — жалобно протянула она. — Пойми... Мне дорого каждое его слово, каждое замечание. Такого учителя днем с огнем искать — не сыскать. Счастье — учиться у него. И вот теперь из-за глупых предрассудков я должна бежать. Нет! Пускай узнает Алевтина Васильевна. В конце концов, плевать, что она обо мне подумает. Наука дороже мнения малограмотной бабы.

— Разве можно так? Она же твоя подруга!

— Уж не боишься ли ты за самого себя?

— Боюсь. Боюсь, черт побери!

— Фу, все-таки ты дурачок! — Татьяна прижалась щекой к моему плечу и сокровенно прошептала: — Знай, ни тебя, ни эту кроху, — она погладила по голове сидевшую на моих коленях Маринку, — я никогда не посмею предать. Никогда! Слышишь? И выбрось из головы всякие глупости!

...С того памятного дня прошло почти два года. События дальше не развивались — Татьяна училась, писала диссертацию, никаких кривотолков, взрывов, по-прежнему ходили в гости к Баженовым, и я постепенно привык к двусмысленности нашей семейной дружбы, успокоился, и сейчас мне хотелось успокоить и Алевтину Васильевну — никуда-то Баженов от нее не денется, как и от меня Татьяна, слишком поздно встретились, вернее, слишком поздно Татьяна на свет появилась, но я не имел права что-либо говорить. Хорошо бы я выглядел, если бы разоткровенничался — чем-то вроде сводника: знал и молчал.

Но одно то, что я и сейчас молчал, не подкрепил ничем подозрений Алевтины Васильевны, чего она, вероятно, втайне боялась, — одно это вернуло ей душевную бодрость. Она припудрила под глазами и повеселевшим голосом сказала:

— Скорее всего, я напридумывала — косые взгляды и прочее. Стариками стали, отлюбили свое... Об одном только прошу вас, Витя: о нашем разговоре никому ни слова. Тем более Татьяне Сергеевне. Еще подумает: подозреваю в чем-то и перестанет к нам ходить. А она самая талантливая ученица у Глеба Кузьмича. Он нара-

доваться на нее не может... Достойного преемника оставит после себя.

— Никому ни слова,— сказал я, поднимаясь с дивана.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Маринка, вытянув ножки, сидела на тахте, листала толстую растрепанную книгу — зоологический атлас, который ей неизменно подсовывала в своем доме Анна Семеновна. Под тяжестью книги, наверно, давно затекли колени, да и просматриваемые в сотый раз цветные изображения кенгуру, жираф, страусов могли порядком надоесть, но Маринка безропотно подчинялась своей участи, — воспитанная девочка! — смиренно перелистывала грубые пожелтевшие страницы и лишь время от времени вскидывала на меня озабоченный взгляд, словно спрашивая, так ли ведет себя. В ответ я одобрительно кивал головой. В бабушкином доме только так и надо было держать — чинно, никаких вольностей.

А мы, взрослые, восседали под разлапистой люстрой, сиявшей во все огни, пили домашнее вино, закусывали домашними соленьями-вареньями и хмуро томились от невысказанного недовольства друг другом.

Эта ужасная люстра висела над моей головой. Она была не то из бронзы, не то из чего другого, поплотнее, только выкрашена под бронзу, и я ни на минуту не забывал о ее тупой тяжести. Сидел, поцеживал вино и с тревогой прикидывал в уме: во что мне обойдется, если она вдруг возьмет и грохнется. Словом, и я чувствовал себя в гостях у родственников нисколько не лучше Маринки: она была придавлена книгой, я — люстрой.

Окна густо залепило темнотой, но Анна Семеновна еще не начинала разговора, ради которого и пригласи-

ла нас на ужин. Вздыхала, прятала от меня недовольный взгляд. Я догадывался, о чем пойдет речь,— все о той же злополучной папке,— но не подумал помочь теще, опасаясь, как бы это не разволновало ее еще больше. Татьяна склонилась над столом и задумчиво ковыряла вилкой в маринованных грибах. Сергей Иванович с невозмутимым видом разливал по рюмкам вино.

Анна Семеновна, наконец, не выдержала: выкинула на стол сжатые в кулаки руки и, побледнев слегка своим темным ликом, в упор спросила:

— Что ты там за папку привез? Какие документы?

Вопрос прозвучал грубо, даже Сергей Иванович поморщился, но сам я постарался ответить как можно спокойнее:

— Чудак один встретился. Претендует на первооткрывательство Шамансукского месторождения.

— Ну и дела! — как бы в первый раз слыша, удивилась Анна Семеновна.

— Претензия очень сомнительная, и Татьяне, по-моему, не стоит беспокоиться.

— А зачем же ты тогда папку взял?

— Полагал — так лучше. Я даже скрыл от него, что Татьянин муж. Иначе бы не доверил. А папка во всех случаях попала бы в редакцию.

— И что ты собираешься с ней делать?

— Проверять...

— А потом?

— А потом мы, возможно, выстегаем новоявленного претендента... Через газету.

— Ох, не нравится мне эта история. И ты, Витя, не нравишься. У Тани через полнедели защита, а ты под ее работу вроде мину подкладываешь.

Вот и поговори с женщинами! Ведь только объяснил: я тут ни при чем, а она опять свое.

— Какую мину? Что вы, Анна Семеновна!

— Мину, мину! — с нажимом повторила она, будто радуясь удачно найденному слову.

— Татьяне нечего опасаться. Защитит...

— А мы и не боимся,— Анна Семеновна гордо повела рукой, отвергая мою фразу и вместе с ней как бы и самого меня. — Нас больше беспокоят не Танины дела, а твое отношение к семье... Муж и жена — одна сатана, все заодно. Таня защищает диссертацию не только для себя, но и для нее,— Анна Семеновна кивнула на Маринку, — и ты бы должен по мере сил поддерживать, подпирать, а ты...

— Полно, Аня, — тихо вмешался Сергей Иванович.

— Я вот про себя скажу, — не слушая мужа, продолжала Анна Семеновна.— Кабы я не подталкивала Сергея Ивановича, стал бы он когда-нибудь директором? Да ни в жисть! И у нас случаются нелады, но из-за другого... Господь наградил меня свекровью — искать не сыскать... В молодости думала: ну ладно, перетерплю, молодая, хватит на веку времени и одной пожить. А теперь вижу — переживет меня...

— Совсем уже слабая стала, — увещевательным голосом произнес Сергей Иванович.

Свекровь — излюбленная тема Анны Семеновны. Я с облегчением подумал: ну, пронесло, теперь весь свой запал обрушит на несчастную старуху. А последнее замечание Сергея Ивановича заставило ее и совсем забыть обо мне.

— Знаю, какая слабая! Все играет. Артистка! «Люди добрые, помогите до дома дойти, сын родной есть и внучка, а вот никому не нужна. Снохушка против меня настроила...» Тьфу, врунья! Врать — не слабая.

— Хватит, Аня, — кротко произнес Сергей Иванович, слушавший жену с закрытыми глазами.

Он никогда ей не перечил. Заступиться за бабушку могла лишь Татьяна, ей одной в доме позволялось своевольничать, но и она в этот раз словно воды в рот набрала. Помню, однажды она рассказывала, как ее, еще совсем маленькой, с Маринку или чуть постарше, отправляли в деревню к бабушке, как она пила там парное молоко, как ходила с бабушкой на речку полоскать белье. Речка была не глубокая, мостики выходили чуть ли не на середину, и по обеим их сторонам среди плоских зеленых листьев росли белые и желтые лилии; было хорошо, солнечно, и бабка в то время была совсем не вредная и никакая не артистка, а, наоборот, очень добрая, заботливая, сажала на колени, рассказывала сказки или пела что-нибудь старинное, жалостное... Может, об этом и вспоминала теперь Татьяна?

Я же за все пять лет видел старуху не больше трех раз: высохшая, морщинистая, в белых пигментных пятнах, на самом деле, верно, очень слабая: передвигается по коридору в уборную, придерживаясь руками за стенку.

Анна Семеновна могла бы еще о ней распространяться, но с улицы позвонили. Сергей Иванович пошел открывать и вернулся через минуту с тетей Пашей. Тетя Паша два раза в неделю приходила обихоживать старуху.

— Ты ведь знаешь, что и где? — спросила у нее Анна Семеновна.

— Знаю,— ответила тетя Паша.— Сидите кушайте.

Разговоров за столом больше не было. Все слушали. Сначала в ванной заплескалась вода, потом проскреблись по коридору шаркающие шаги, загудел голос тети Паши:

— Вот так, разденемся... Потрем бочок... теперь другой...

Вскоре тетя Паша крикнула:

— Хозяюшка, принеси-ка бинт, неладно у нас.

Анна Семеновна встала из-за стола, ушла в ванную и возвратилась уже вместе с тетей Пашей. Та западала на левую ногу и была очень крепкой: прокопченная, обветренная на лицо, с крупными, почти мужскими руками. Глаза смотрели остро.

— Кожа совсем высохла, — объяснила тетя Паша, расправляя закатанные рукава синего спецовочного халата. — Истончилась. Чуть мочалкой тронула и — ширк, словно папиросная бумага.

— Выпей-ка, тетя Паша,— предложила Анна Семеновна, наливая вина в чистую рюмку. — Работа у тебя тяжелая.

— Не смеши-ка людей, — возразила тетя Паша с прямодушной грубоватостью.— Все бы такая тяжелая работа была. Отвела до ванны, вымыла, привела обратно, часа не затратила и пять рублей заработала.

Тетя Паша подняла рюмку, оглядела нас и спросила:

— За что пьете-то?

— Дочь с зятем пожаловали в гости.

«Как бы не так — пожаловали, — усмехнулся я. — Сама приволокла, узнав про папку с документами».

— Вот за них и выпью, — тетя Паша откинула голову и уверенным взмахом выплеснула из рюмки в рот. Закусив хлебом с ветчиной, промолвила:

— Нынче наш брат, неученый, и держится тем, что ученые-то разучилась на себя делать: полы мыть, стирать, умываться. Прости господи, скоро станут нанимать, чтобы зад подтереть. Не про вас говорю... В этом особняке во время войны тоже тип один жил. Однажды останавливает меня на улице:

«Тетя Паша, не сможешь ли ты по вечерам заходить к нам — бельишко простирнуть. полы вымыть?»

«Не знаю,— сказала.— Что за выгода будет?»

«А такая выгода: не деньгами стану с тобой расплачиваться, а продуктами».

«Ну ладно, зайду, посмотрю ваше хозяйство».

Назавтра после работы зашла. Провели по комнатам, кухню, ванную показали, ключи дали — в любое время приходи и прибирайся. В первый раз целую ночь стирала. Утром хозяин насыпал мне полнаволочки муки. По тем временам — целое богатство!.. Так вы знаете, за их спиной я и войны потом не чувствовала. То мне мучки, то бутылку постного масла, то спирту. «Какого тебе, спрашивает, спирту: разведенного или неразведенного». Я говорю — неразведенного. Нальет пол-литру, а я приду домой, разведу — две бутылки водки, и на базар. С этих пол-литр справила сыну костюм, шубенку, валенки, пофрантил немножко перед армией... До фронта не доехал, разбомбили. Но я и посейчас довольна: хоть последнюю зиму в теплом походил... У них, у жильца-то, в каждой комнате по кровати стояло. Зачем так много кроватей? — удивлялась. Семья всего из трех человек. Потом открылось. Когда я уже своей в доме стала. Под кроватями — ящики, не глубокие, не до самого пола, но вместительные, а в тех ящиках мешки с мукой, сверху досками заложены. На досках — постели. Кровати и кровати. На другое на что и не подумаешь. А в ванной и уборной — бутыли. В одних — спирт, в других — масло. Сдружились мы с хозяином. В выходной скажет:

«Не сходить ли нам, тетя Паша, на базар?»

«Почему бы не сходить. Пошли».

Нальет бутылок десять разведенного спирту, растолкает по внутренним карманам — и отправляемся. Он на базар не заходит, стоит где-нибудь на улице. Весь в серых каракулях, в каракулевой генеральской папахе —

никому и в голову не придет подумать про него что-нибудь базарное. А я продам одну бутылку, бегу к нему за следующей. А он — только деньги от меня принимает... Раз мужики выхватили у меня бутылку, я в них так вцепилась — взревели. Голодные были, а я кормленая...

Тетя Паша выпила еще одну рюмку и поднялась:

— Спасибо за хлеб-соль. Дома свои заботы. Да и поздновато.

Анна Семеновна проводила ее до калитки. Возвратившись с улицы, заметила — Маринка трет глаза, и сразу же начала стелить постели: Татьяне и Маринке — в столовой на тахте, мне — в кабинете Сергея Ивановича, на том самом диване, на котором мы спали с Татьяной в свою первую ночь.

...Около трех часов я вдруг проснулся. Почудилось — задыхаюсь, будто сквозь невидимые в темноте стены сочится удушливый газ; еще один глоток — и я погиб.

Я спрыгнул с дивана, нашарил на стене выключатель и зажег свет. Воздух был чистый. Через раскрытую форточку ветерок шевелил штору.

Я покрутил головою, припоминая, что бы такое во сне могло напугать меня, и тут сквозь стену, отделяющую кабинет от кухни, услышал неясное бормотание. Приоткрыв дверь, я на цыпочках пробрался в коридор. Бормотание стало слышнее, но еще нельзя было разобрать ни одного слова. Тогда подкрался к самой кухне. Старуха молилась:

— Боже милостивый! Загляни ты в мою темницу, посмотри, что сталось со мною: ноги не держат, кожа иссохла, внучке родной противна. Спасибо: сынок еще не брезгает, хлеб-соль дает... Он и всегда-то был ласковый. В детстве соскочит раным-ранехонько и на речку. Принесет полный котелок плотвичек. Сварю уху, а он

угощает: «Ешь, мама». И внучка тоже ласковая. Норовила помочь. Полощу белье — и она с платочком лезет в воду. Вытираю пол — и она тут же елозит мокрой тряпкой...

... Я отскочил от кухни и, не заботясь о том, услышат меня или нет, побежал в кабинет, с головою залез под одеяло, чтобы не слышать бормотания. И снова стало чудиться — задыхаюсь, сочится из стен удушливое...

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Студенты из Татьяниного поискового отряда год назад окончили институт. Трое из них, как сообщили в отделе кадров, были распределены в иные края, и только четвертый, Дмитрий Колосок, на которого на Шамансуке бросалась рысь, находился в городе, более того — тут же, в институте: состоял в аспирантуре на кафедре Баженова.

В просторной комнате с прогнувшимися от камней стеллажами, с чертежными досками, со столами впритык, уставленными штативами с пробирками, микроскопами, сидело человек восемь — в белых халатах. Ни Баженова, ни Татьяны среди них не было, это придало мне уверенности.

— Кто здесь товарищ Колосок?

— Я, — за ближним столом поворотился желтоволосый веснушчатый парень.

— Где бы мы могли с вами поговорить?

Колосок кивнул на дверь. Мы вышли в коридор и встали у окна. Я представился:

— Из газеты.

— Ого! — заулыбался Колосок. — Вроде бы ничем пока не прославился... Или жалоба поступила?

— Справку навести... Мне известно, вы некогда работали в поисковом отряде Красовской.

— Да, — настороженно блеснул рыжими глазами Колосок.

— Вместе открывали Шамансук?

— И это правда.

— Не расскажете ли подробнее о тех событиях?

— Забыл. Не помню,— мрачно заявил парень.

— То есть как забыли? — удивился я.— Через двато года?

— Забыл!

— Или не хотите рассказывать?

— Можете считать так.

Меня огорчил не столько сам отказ, сколько то, что крылось за ним. С какой бы стати парень стал молчать, если бы дело было чистое: они же с Татьяной сотрудники, коллеги.

Не попрощавшись, я круто повернулся и направился к выходу. Колосок в спину негромко окликнул меня:

— Эй, журналист! Есть техник-геолог Каленов. У него поспрашивайте. Запомнили — Каленов?

«Сам боится сказать, а след подает, трус несчастный! Хоть бы его там рысь задрала!» — выругался я про себя, но фамилию Каленова сейчас же занес в записную книжку.

Прежде чем войти в кабинет Русанова, начальника геологического управления, я по журналистской привычке постарался припомнить все, что мог о нем знать или слышать.

Умница. Работяга. Честолюбец. Удачливый человек. Недавно в центральной печати был назван в числе трехчетырех геологов-практиков, двигающих вперед геологическую науку. О нем вообще много писали. «Генерал

разведки», «Сибирский Колумб» и так далее. Попадался на глаза и очерк под сомнительным названием «Случайная профессия». Падкий на сенсации, автор поведал об одном из давних эпизодов биографии знаменитого геолога. Борис Русанов, выросший в семье военнослужащего и переучившийся из-за постоянных переездов отца в десятке различных школ, долго не мог определиться в жизни. Сначала поступил в военное училище. Через год понял: не то. А уйти не просто — армия. Пришлось потрудиться, чтоб списали. И опять надо было выбирать. Дома вытащил с полки том энциклопедии, раскрыл наугад, ткнул пальцем: геофизика. Что это такое, с чем едят — понятия не имел, но все-таки пошел в горный институт, а после второго курса на производственной практике в Саянах с неожиданной радостью открыл — по душе ему случайная профессия.

Мои сведения о начальнике управления были столь разноречивы, что я даже не мог представить, кого сейчас увижу перед собой — ученого ли мужа, двигающего вперед геологическую науку, или удачливого хамоватого малого, взлетевшего неожиданно для самого себя на вершину всесоюзной славы.

Позже понял: напрасно расчленял эти качества. В Русанове сосредоточилось все: и ученость, и воля, и удачливость, и хамоватость.

С седоватыми висками, худощавый, смуглый, чисто выбритый, отглаженный, накрахмаленный, он сидел в глубине кабинета за массивным двухтумбовым столом, читал толстую переплетенную рукопись и даже глаз не поднял при моем появлении.

Справа от него, вровень со столом, стоял селектор; в белых клавишах, со скошенным верхом, он походил на старинное комнатное фортепиано; за спиной во всю стену висела яркая, похожая на восточный ковер карта:

низ карты полыхал от киновари, и я догадался: ею закрашены горы.

— Ну, чего там встали? — услышал я властный грубоватый голос. — Проходите.

Вместо мягких кресел для посетителей, какие приняты в учреждениях подобного ранга, здесь стояли обыкновенные стулья. Я опустился на один из них, достал из кармана служебное удостоверение, протянул Русанову. Тот, нахмурив кустистые, с сединой брови, мельком взглянул на корочки и сказал:

— Слушаю. Только покороче. Пяти минут хватит?

— Не знаю, — оскорбившись, резко ответил я, однако заторопился.— Меня интересует история открытия Шамансукского железорудного месторождения. На первооткрывательство сейчас претендуют два человека...

— Знаю, — оборвал Русанов. — Знаком с этим делом. Попытаюсь в немногих словах сформулировать нашу точку зрения. Красовская... Вы ее имеете в виду?

— Да.

— Так вот, Красовская настаивает: открытие Шамансука — результат усилий лишь ее одной. Но ведь так не бывает. Никто в нынешнее время в одиночку месторождений не открывает. Она была направлена к нам на преддиссертационную практику. Мы ее послали в Уганск. Там она проводила поиски по проектам, составленным нашими работниками. В дальнейшем управление организовало на Шамансуке детальную разведку — с геофизикой, с буровыми станками. Честь открытия целиком и полностью принадлежит работникам управления.

— По-вашему, Красовская ни при чем?

— Нет, почему же. Одна из соучастников открытия. Но не больше... На своем веку немало видел, как примазываются люди к чужим делам, но такого, чтобы один человек взял и присвоил целое геологическое откры-

тие: мое, и ничье больше,— скажу честно, не знавал. Просто авантюристка какая-то! И очень хорошо, что в газете заинтересовались ее проделками. Надо публично наказывать таких людей. Чтобы другим неповадно было!

Пока Русанов говорил, я, словно под ударами плети, весь сжался в комок. Ладони в кулаках вспотели. Пот выжимался меж пальцев. Идя к Русанову, я и не представлял, что заново буду страдать за Татьяну.

Обтерев о штаны ладони, тихо произнес:

— Меня интересуют подробности, детали. Вы, кажется, в то время в Уганске находились?

— Да, находился. Но добавить нечего. Разве следующее... Крапивин настаивал, чтобы Красовская отправилась на Шамансук второй раз, а она не хотела, даже слезу пустила. Сам видел. Устраивает такая деталь? — Русанов уперся руками в подлокотники кресла, как бы собираясь вставать. Разговор был окончен. Нового не узнал ни капельки. Я наклонил голову и потерянно проговорил:

— Мне для самого себя очень важно разобраться в этой истории...

— Да?— нетерпеливо бросил Русанов.

— Видите ли, какой казус — Красовская моя жена,— и я поднял голову.

Русанов убрал руки с подлокотников, и в его глазах я в первый раз уловил заинтересованность.

— Действительно, казус! — сказал он с дружелюбным участием, потом наклонился вправо через подлокотник, выдвинул ящик и вытащил на стол пачку сигарет.

— Курите?

Потными пальцами я вытянул сигарету, сунул в рот. Русанов через стол щелкнул зажигалкой.

— Давно женаты?

— Пять лет.

— Дети есть?

— Дочь.

— Мда-а, — неопределенно протянул Русанов и неожиданно добавил: — Красивая у тебя жена! И способная, наверно. Только кой черт дернул ее написать в автореферате, что одна открывала месторождение. Упомянула бы Крапивина и никакого бы сыр-бора не было. А сейчас он не успокоится, всех на ноги поднимет, пока не добьется своего. Я его слишком хорошо знаю.

— Вот-вот, расскажите, пожалуйста, о Крапивине,— приободрился я.

Русанов внимательно посмотрел мне в глаза, словно прикидывая, стоит ли рассказывать, потом поднялся из-за стола, прошел к тумбочке, заставленной бутылками с минеральной водой, открыл одну, налил в стакан, выпил и, вернувшись на свое место, проговорил:

— Ладно, так и быть, расскажу. А ты разберись: что к чему... С Женей Крапивиным мы вместе учились и вместе начинали работать. В то время начальником управления был Ширяев Василий Андреевич. Может, слышали? Мудрый старик. С каждым, кто приезжал к нему на работу, вел примерно один и тот же разговор:

«Ну-с, молодой человек, как ты собираешься расти? Снизу вверх или сверху вниз?»

«Не понимаю», — обычно отвечал молодой человек.

«Скажем, сейчас я могу послать тебя на буровую. Рабочим. Освоишь дело, отличишься и, глядишь, месяца через два помбуром станешь. Потом буровым мастером. Дальше — больше. До начальника партии или экспедиции дорастешь. А лет через десять, смотришь, и меня заменишь. Чему удивляешься? Я уже старый. На пенсию пора. Лет через десять как раз и соберусь... Это называется снизу вверх. А есть еще другой путь: сверху

вниз. Сейчас у меня в управлении полно вакантных мест. Занимай любое, хоть начальника отдела. Ты с высшим образованием — имеешь право. Ну, а не справишься, я тебя понижу до начальника партии. Сплохуешь там — пойдешь в буровые мастера, завалишь буровую — рабочим... Вот так, дружок. Стоишь ты сейчас передо мной, словно витязь перед камнем: налево — смерть, направо — в полон возьмут, прямо — быть без славы и коня. Выбирай!».

Все, конечно выбирали первый путь: снизу вверх. Я — тоже. Хотя заманчиво было сразу оказаться в начальстве, жить в большом городе и в тайгу выезжать летом, как на прогулочку. Лишь один Крапивин проявил дерзость:«Давайте я испытаю ваш второй путь». Но и, сказать, были у него основания: в институте учился лучше всех, студентом напечатал несколько статей и вообще проявлял склонность к теоретической работе. С молоточком не больно любил ходить. Старик не удивился или, по крайней мере, вида не подал, что удивился, похвалил даже: «Молодец! Смелость города берет». Назначил руководителем геологического отдела. И понижать не пришлось. Не сработало правило. Крапивин сразу схватил дело. Ездил по партиям, экспедициям, печатал статьи. Квартиру получил. Попадая изредка в город, я всегда у него останавливался. Его жена тоже из нашего института. Самая красивая девушка на курсе, не сразу дерзнешь и ухаживать за такой. А вот Женя дерзнул, и досталась ему... Легкая, веселая семья: вино, цветы, смех. Каждый вечер компании, театр, рестораны. Ну, а я потихоньку двигался по начертанному стариком пути: рабочий, помбур, начальник партии. Помаленьку находили. На каждое открытие приезжал из управления Крапивин, шумно радовался, поздравлял, а потом писал о нас в газету. Любил он это дело — писать в газету. Но

выходило у него так, будто в каждом открытии и он принимал участие. Еще, мол, в таком-то году и в такой-то статье он заранее предсказал разысканный уголь. Или руду. Или нефть... За открытие Карасульской железорудной платформы меня с группой в семь человек представили к Государственной премии. Крапивина в списке не было. Премию мы получили. И вот я снова — в городе. И первым делом, конечно, к друзьям. А там и духом прежним не пахнет: жена поскучнела, у хозяина в голосе раздраженные нотки. «Не ссорятся ли?» — подумал я. Сели за стол, выпили. Крапивин заговорил: он-де самый талантливый и знающий геолог, в управлении, а мы по сравнению с ним сосунки, и нам надо к нему на выучку идти. Я поддакивал, не догадываясь, куда клонит. А он вдруг объявил мне:

«Ты не настоящий друг. Был бы настоящим, потребовал, чтоб и меня в список включили. Или сам бы отказался от премии. Честные люди так поступают. Когда Горького не избрали в Академию, Чехов и Короленко отказались от звания академиков... Не те времена пошли. Теперь за свое благополучие родного отца скорее заложат».

Раздраженное честолюбие!.. А как я мог требовать включить его в список, если совершенно не знал, с какого бока он причастен к открытию. Ну, писал в газету. В таком случае премию следовало дать еще двум десяткам журналистов, которые о нас писали. В тот раз я и ночевать не стал у них, среди ночи убрел в гостиницу. С тех пор мы и разошлись. Потом меня перевели в управление. Или моя персона на него угнетающе действовала или по другой причине — запросился в низы. Его и направили в Уганск. Так что старик Ширяев и в данном случае оказался прав.

— Знаете, — вдруг рассмеялся Русанов, — назовите

меня попугаем, плагиатором, но и я теперь молодых специалистов встречаю тем же вопросом: снизу вверх или сверху вниз?.. Ну вот и все... Разбирайтесь сами: что к чему? А честь мундира? Хмы... Если Крапивин и тут ни при чем — как ни больно нам будет — не станем настаивать на своем приоритете Но должны быть веские доказательства. Ясно?

— Ясно! — ободренно сказал я.

Русанов, приподняв над столом руку, взглянул на часы.

— Еще один вопрос, — заторопился я. — Где у вас работает техник-геолог Каленов?

— Каленов? Не припомню. Сейчас узнаем.

Русанов нажал на своем фортепиано одну из клавиш, и в ту же секунду в висевшем на стене ящичке репродуктора послышался женский голос:

— Да?

— Надежда Ивановна, — сказал в микрофон Русанов, — посмотрите в списках ИТР Каленова. Где и кем работает?

— Каленов? Имя, отчество?

— Не знаю, — подсказал я.

— Имя и отчество неизвестны.

С минуту в репродукторе слышался шелест бумаги, потом тот же голос произнес:

— Каленов Алексей Николаевич, техник-геолог. Работает он у нас сторожем на прииске Нежданном.

— Что за чепуха? Какой еще сторож? Прииск ликвидирован. Остались одни избы. И те давно списаны с баланса. Нечего там сторожить! Кто его назначил?

— Назначил его Василий Андреевич. А как и почему — не знаю. Тот лично приходил к Василию Андреевичу.

— Понятно.

— Будут на этот счет какие-нибудь указания?

— Пока нет. Разберусь.

Русанов нажал клавишу, выключил селектор и повернулся ко мне:

— Этот Каленов вас интересует?

— Кажется, он.

— И тоже в связи с первооткрывательством?

— Советуют и у него поспрашивать.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Из геологического управления я вышел во втором часу.

По улицам валили на перерыв служащие. Возле кафе и ресторанов, на солнцепеке, томились очереди. Достаточно было на них взглянуть, чтобы сразу пропал всякий аппетит. Я направился домой: поем не поем, хоть в прохладе посижу. Может, Татьяна заскочит на минутку, расскажу ей о Крапивине: вишь, ведь какой интриган, чужие открытия спать не дают!

Но Татьяны дома не оказалось. Я прошел в кухню, заглянул в кастрюли — пусто, заглянул в шкаф — черствая краюшка хлеба да на грязной тарелке завядший хвостик селедки. Не жирно, но пенять не на кого, сам после командировки запустил хозяйство.

Не помню уже точно, когда это у нас началось, что я стал подменять Татьяну на кухне, — или когда она поступала в аспирантуру, или когда сдавала кандидатские экзамены. Помню лишь, с чего именно: однажды, чтобы не отрывать ее от занятий, вызвался сварить борщ. А потом и пошло по инерции: борщи, супы, рассольники, голубцы, котлеты, кашка для Маринки. В общем, кто что пожелает — по заказу. Ели. Нахваливали... Сдав последний экзамен, Татьяна и не подумала лишать меня своих женских привилегий. Может, боялась осрамиться,

ибо к тому времени я уже творил на кухне настоящие чудеса. Чего стоила мусака — фирменное мое блюдо, которое я готовил по болгарской поваренной книге: слой тонкими ломтиками нарезанного картофеля, слой мясного фарша, слой картофеля, слой фарша, сдобренного луком, чесноком, перчиком, сверху все это поливалось сбитым в молоке яйцом — и в духовку; нечто вроде «наполеона» только не из сладкого! По воскресеньям я ходил в магазин «Полуфабрикаты», покупал готовое тесто и жарил дома пирожки — с капустой, с рисом, с зеленым луком. Татьяна, как всегда, сидела за письменным столом. Маринка одиноко возилась с игрушками на полу, а я под пальбу и шипение жира самозабвенно творил аккуратненькие, воздушные, смугло-румяные создания и, когда их вырастала целая гора, с гордостью созывал семью на пиршество.

Я бы и сейчас мог что-нибудь придумать — продукты в запасе были, но меня вдруг ни с того ни с сего охватила досада: обо всех хлопочи, заботься, а о самом никто и не вспомнит!

Я соскреб с селедки белесую соль, размочил в воде хлеб и принялся жевать. А досада росла, вытягивая, точно за ниточку, все новые и новые обиды. Я и не подозревал, что их так много накопилось, целый клубок — не размотать.

Кухня — пустяки. Куда обиднее было другое: Татьяна совсем перестала интересоваться моим делом. Иногда не утерпишь, подсунешь ей газету со своей статьей, а она только пожмет плечами: или некогда или надоело — словом, понимай, как хочешь. А ведь в первые годы сама требовала, чтобы я показывал ей свои материалы еще в рукописи. Прочитывала на два-три раза, советовала, подсказывала, даже стиль исправляла на свой вкус...

...Я вздрогнул: передо мной стояла Татьяна. Заду-

мавшись, и не слышал, как она вошла в дом и очутилась в кухне.

Но что с ней приключилось? Будто подслушала мои мысли — лицо в красных пятнах, губы слеплены в узкую полоску, грудь высоко ходит под распахнутым плащом.

— Садись, — сказал я.

Она опустилась на краешек стула, взглянула на мою еду, брезгливо усмехнулась — и подняла глаза. Боже! Сколько ненависти? Откуда? Что в самом деле стряслось?

— Значит, ты ведешь по моему делу следствие? — гневно-тихим голосом спросила она.

— Не совсем...

— Брось юлить! — повышая голос, перебила она. — Знаю! Зачем был у Мити Колоска? Что у него вынюхивал? Тоже Шерлок Холмс нашелся!

Ого! Уже ничего не страшится, сама наскакивает! Никак поговорила с Баженовым, и тот заверил: за его спиной нечего опасаться.

— Я и в геологическое управление ходил. С Русановым беседовал.

— С Русановым? — голос незнакомо взвился. — Мерзавец! Вот ты кто!

— Таня, Таня, успокойся, — растерянно проговорил я.

— Нет, не успокоюсь! Все скажу, что думаю о тебе! Все! Знаешь, почему ты ухватился за эту папку со сплетнями? Потому, что завидуешь мне. Мое открытие и моя диссертация тебе поперек горла — как кость! А завидуешь потому, что бездарен! Оглянись-ка на свою жизнь. Что ты сделал? Университет только и окончил. Больше-то ничего за душой. Недаром до сих пор таскаешь этот ромбик. Ха-ха! Нашел, чем гордиться. А вспомни, что обещал, когда уговаривал меня выйти замуж. Горы золотые! И книгу-то будешь писать, и прославишь меня... Прославил. Ты себя прославь. А мне своей славы хва-

тит... Я аспирантуру окончила, месторождение открыла, диссертацию написала. Вот ты теперь и завидуешь. Ну, завидуй, коли иначе не можешь. Только не вставай мне поперек дороги! Не суй носа в мои дела! Предупреждаю — хуже будет!

Били, хлестали слова! Наотмашь. Справа, слева. Со всех сторон. И все по незащищенному, по открытому. В глазах потемнело. Поднимаясь со стула, я уже совсем ничего не видел. Потом, будто при вспышке магния, мелькнули на миг округлившиеся от страха Татьянины глаза и тут же исчезли, провалились. Словно выстреленный из пращи, улетел в коридор стул. Грохнуло на пол тело.

А ты ведь должна помнить — начинал книгу. Ночами просиживал над тетрадкою. Ах, что это была за мука — равняться на великих и прославленных! Слова увядали под пером. Герои играли в прятки; простые славные люди, не лишенные некоторой сложности, переходя на бумагу, вдруг начинали так кривляться и манерничать — сам их не признавал! Я выбился из сил. От бессилия в конце концов и решился писать, как бог на душу положит, ни на кого не равняясь. И прорвалась — обронилось одно неожиданное слово, другое, третье, и ожила, задышала вся фраза, и герои перестали играть в прятки и, толкаясь, ломая очередь, по головам, полезли на бумагу... Потом я принес зарплату. Ты удивилась: почему мало, вроде бы все дни что-то писал? Я тебе рассказал про книгу. Ты спросила, скоро ли я закончу и сразу ли она будет напечатана. «С моими темпами — года через два, а то и через три. А о печатании боюсь и думать. Говорят, легче написать, чем напечатать». Ты задумалась, а когда я снова сел за тетрадку, встала за моей спиной и сказала: «Но ведь нам не прожить без газетных гонораров».

«Как-нибудь перетерпим»,— попытался успокоить я. «А нельзя ли подождать с книгой три-четыре года? Окончу аспирантуру, защищу диссертацию и тогда хоть совсем уходи из газеты. Кандидатской зарплаты хватит... Сейчас ты мне помогаешь, а потом я тебе».— «Сделка?» — «Если тебе нравится это слово, пусть будет так».— «Ладно, ладно, не сердись»,— сдался я и забросил тетрадь подальше в стол — чтоб на глаза не попадалась. Но время от времени она все-таки попадается, и я перечитываю ее. И каждый раз удивляюсь наивной свежести и выразительности полузабытых сцен. Теперь уже так писать не умею. Я растерял все слова, какими начинал книгу. Они были из детства. Вначале я даже газетные статьи писал языком детства. Он тебе не нравился. «Ну, как понять,— негодовала ты,— «облаживали гнездо»? Что за слово? В словаре такого нет — делали, строили!» И хоть я чувствовал в этом слове теплоту и любовь, с какой герои очерка свивали свое гнездо, я, веруя в твой вкус, покорно заменял его. Тебя коробило от слов «беремя», «непогодь», «обиход» и десяток других, и я безжалостно выкидывал их, вскоре и сам перестал употреблять, постарался забыть, а теперь, если встречаю в каком-нибудь рассказе «лыву» или «всклень», у меня от умиления выбрызгивают слезы — в детстве только такими словами и говорили вокруг меня, и сам я других не знал. Теперь я вроде иностранца — говорю на чужом языке.

Да, конечно, бездарен, если предал свою мечту и свой язык!

Через два месяца после свадьбы я получил письмо от сестренки. Обычно исписывавшая не менее десятка страниц, на этот раз она была кратка: «Родной братец, спасибо. Больше мне от тебя ничего не надо». Я не помнил, чем бы мог обидеть сестру, спросил у тебя, не помнишь ли ты. «А-а,— сказала,— как-то без тебя приходило от

нее письмо. Сердилась — долго не присылаешь денег. Я ей ответила: теперь у тебя своя семья». Я смолчал. А потом моя сестренка погибла, и меня до сих пор не перестает мучить мысль: и я виноват в ее гибели, не оттолкни от себя, не лиши братского участия — и она бы смогла пережить свой страшный час.

Конечно же бездарен, если предал и сестру!

Все на свете предал — призвание, язык, сестру! Растерял самого себя! Тысячу раз ты права — бездарен, бездарен, бездарен!

Мысли промелькнули в голове за то короткое мгновение, что я стоял, нависнув над столом.

Стул валялся у двери в ванную. Татьяна лежала на полу. Лежала как-то уютно, будто спала, — рука под щекой, глаза закрыты, ноги подтянуты к животу. И только сбившийся подол платья и оголенная над чулком белая полоска тела вызывали щемящую тревогу — не зашиб ли вовсе? Но тут Татьяна открыла глаза. Они были сухие и жесткие. Скользнув взглядом по распростертому телу, она высвободила из-под щеки руку, поправила подол и встала... Усмехнулась. Я не поверил своим глазам — в усмешке промелькнуло торжество: будто даже рада была, что я не удержал себя в руках, будто именно этого и ждала, для этого и затевала разговор.

Она подняла стул и зашла в ванную. Долго не возвращалась. Я пошел туда. Она стояла перед зеркалом и, повернув голову и скосив глаза, рассматривала левую щеку, по которой пришлась моя рука. Потом умылась. Потом, не взглянув на меня, простучала каблуками на металлических копытцах по коридору и хлопнула входной дверью — ушла.

На работу я не пошел — какой теперь из меня работ-

ник? Слонялся по квартире и фраза за фразой припоминал наш разговор. «Так и надо, так и надо!» — с мстительным удовлетворением думал я, когда перед глазами снова летел стул и с грохотом падало на пол тело. Но чем дальше шло время, тем меньше тешило меня злое чувство, пока, наконец, не выветрилось совсем. Выветрилось, и я стал прикидывать, как теперь поведет себя Татьяна, — вернется домой к вечеру или не вернется, простит или не простит? А если не вернется и не простит — что тогда? Разрыв? Убей бог, я не хотел этого.

За окном загустевали пыльные сумерки. Звенели ребячьи голоса. Я вспомнил про Маринку. Забрала ли ее Татьяна? Когда в семье нелады, про детей вспоминаешь в последнюю очередь, и они уже ничем не могут помочь. Однако я надеялся — Маринка поможет мне хотя бы напасть на Татьянин след. Я накинул плащ и выскочил из дома.

Детский сад — на замке, в окнах темно и глухо.

Где искать? У родителей или у Баженовых? При мысли, что теперь кто-то посторонний знает о нашей ссоре, стало еще тошнее.

Недалеко от детского сада перехватил такси и поехал сначала к Баженовым. Я меньше всего рассчитывал застать там свою семью, но, в случае неудачи, Баженовым легче было объяснить свой неожиданный визит, чем теще: та сразу заподозрит неладное и не отстанет, пока не выяснит правды.

Вот и дверь с желтой латунной пластинкой. В щель бьет на площадку луч света. Я приостановился и услышал Маринкин голос.

— Быстрее, быстрее! — азартно кричала она.

У меня бешено застучало сердце — нашлись!

Я перевел дыхание и толкнул дверь. По прихожей, изображая ретивого коня, скакала растрепанная Свет-

лапа, а у нее на закорках сидела моя дочь, тоже растрепанная, раскрасневшаяся, в сбившихся чулках.

Они не сразу заметили меня, а когда заметили, то крикнули почти одновременно:

— Мама, дядя Витя пришел!

— Мама, папа пришел!

И сейчас же из детской выглянули с одинаково недружелюбным и опасливым любопытством на лицах Людмила и Руфина и тут же снова исчезли, а в дверях столовой встала Алевтина Васильевна, и ее настороженный взгляд тоже будто вопрошал: ну, на кого сейчас набросишься? «Весь дом посвящен, — с тоскою подумал.— И не отдадут, пожалуй, жены». Потом рядом с Алевтиной Васильевной показалась Татьяна со скрещенными на груди руками. Я улыбнулся виновато и сказал:

— Приехал за вами... Внизу такси.

Я был почти уверен — услышу в ответ решительный отказ, но случилось чудо. Пораздумав немного, Татьяна процедила сквозь зубы:

— Одень Маринку.

Я не заставил себя упрашивать. Бросился к вешалке, сорвал красное вельветовое пальтишко, выхватил у Светланы дочь...

— Сейчас поедем домой. На машинке. Дай-ка сюда ручку, теперь другую, — говорил я, стоя на одном колене перед дочерью, а сам лихорадочно соображал, чем вызвано столь быстрое Татьянино согласие. Ни упрека, ни скандала. Никак Баженовы насоветовали так себя вести. Прекрасные люди! И я зря на них грешил.

Татьяна уже стояла в плаще, но уходить пока не собиралась, продолжала начатый без меня разговор.

— Хотела снять в ресторане банкетный зал, — говорила она, — но друзья отсоветовали: не спеть, не сплясать. Наверно, дома соберемся.

— И правильно, — горячо поддержала Алевтина Васильевна. — К тому же дешевле.

— Ну, об этом я не думаю.

— Милочка, женщине обо всем приходится думать.

— Начало в семь. Не опаздывайте... Если, конечно, защищу.

— Типун тебе на язык! И сомнений не должно быть! — Алевтина Васильевна многозначительно кивнула на дверь мужнина кабинета и шепотом добавила: — Глеб Кузьмич говорит: блестящая диссертация. — У Татьяны от похвалы зарозовела шея. — И не волнуйся. Волноваться тебе категорически запрещено,— Алевтина Васильевна метнула в мою сторону быстрый взгляд, давая понять: камешек запущен в мой огород.— Перед оппонентами должна предстать в полном блеске: спокойная, уверенная, красивая. Это тоже многое значит. Уж поверь мне...

Оттого, что через несколько минут мы с Татьяной снова будем вместе, я воспрянул духом, и теперь мне все тут нравилось — и голос Алевтины Васильевны, и ее советы, и девочки, и сам дом баженовский. Дом я уже любил. И Баженова, занимающегося в своем кабинете, тоже любил... Вдруг меня пронзила мысль: а если зайти к нему, переговорить о крапивинских документах, о том, какую смуту внесли они в мою семью? Ведь он профессор, специалист по месторождениям. Словом одним может снять с меня всю тяжесть. Как я до этого раньше не додумался?

— Позвольте побеспокоить вашего мужа, — обратился я к Алевтине Васильевне.

Она удивленно вскинула разлетистые брови и пожала плечами.

Татьяна резко возразила:

— Мы должны ехать.

— На одно слово,— сказал я и постучал в дверь.

Баженов, в толстом ворсистом халате, но в выходной белой сорочке и при галстуке, сидел за столом, писал. Тоненькая ученическая ручка была зажата между большим и безымянным пальцами, единственными на правой руке. Рука до кисти побелела от напряжения. Я предполагал — у Баженова обязательно трудный, неразборчивый почерк. Как у Льва Толстого. Но мельком взглянув на рукопись, с удивлением увидел ровные, аккуратные строчки.

— Ага, Виктор Степанович, — холодно произнес Баженов и, положив ручку, кивнул на стул.— Садитесь. Чем могу служить?

Профессор избегал смотреть мне в глаза. Я сел и сказал:

— Вы, наверно, в курсе. Некий Крапивин из Уганска...

— Да, да, знаю, — перебил Баженов, глядя в окно. — Сущий вздор.

— Теперь документы у меня. Я хотел посоветоваться...

— Не знаю, вправе ли я вмешиваться в ваши дела, — Баженов отвернулся от окна и впервые взглянул на меня своими светлыми холодными глазами. — Но Татьяна Сергеевна моя ученица, за нее я должен заступиться. Мне кажется, вы не совсем точно представляете, кто ваша жена. Талант. В будущем большой ученый. И не рискованно ли с вашей стороны навязывать ей свою волю, свои взгляды, попросту мешать ей.

От унижения и горечи у меня зарябило в глазах, заложило уши. Баженов, может быть, и еще что-то говорил, но я уже не слушал. Хотелось крикнуть: лжете! Вы любите Татьяну, и только потому так говорите. Любите на здоровье! Но зачем в науку вести по сомнительной дорожке?

Но я не крикнул: несмотря ни на что, я уважал этого человека — за его биографию, за искалеченные руки, за его силу и слабость.

— Ну что ж, — сказал я, вставая со стула. — И на том спасибо.

— Пожалуйста, — сухо ответил Баженов.

...Потом мы, как два года назад, ехали в такси, только не рядышком, не прижавшись друг к другу, а порознь, у дверец, и Маринка уже сидела не у меня на коленях, а у Татьяны.

Улицы были освещены фонарями. В одном месте машина пролетела по-над берегом; на реке, в темноте, тут и там мигали топовые огни катеров — зеленые и красные.

Баженов подсек меня под корень. Так одиноко я еще никогда себя не чувствовал — словно весь мир отвернулся.

Я пододвинулся к Татьяне — у кого же искать сочувствия? — нашарил на сиденье руку, но Татьяна тут же выдернула и торопливо сказала:

— Не думай, что я забыла и простила. Я возвращаюсь из-за банкета. Если бы не банкет, ты бы меня больше не увидел.

— Таня, — сказал я.

— Не надо, — оборвала она. — После защиты мы разъедемся. Я уеду.

— Таня, — сказал я.

— Я тебя не люблю.

— Таня, — сказал я.

— Только, пожалуйста, не упрашивай, не унижайся. Ничто не поможет.

И это я понял — сейчас ничто не поможет, и замолчал. Татьяна время от времени размыкала губы и, не поворачивая головы, бросала отдельные фразы:

— Мне бы очень не хотелось видеть тебя на своем банкете...

— Не можешь ли уехать куда-нибудь в командировку? На неделю? Я без тебя и переберусь.

— Видишь, какая у тебя жена была? От других и не отвяжешься. А я тебе предлагаю разъехаться без всякого шума. Даже соседи ничего не пронюхают. Уехала и уехала.

— Не надо просить. Не надо унижаться. Не поможет. Будь мужчиной.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сначала с лестницы донеслись их голоса, а потом и сами ввалились — Татьяна, Эджин и Наташа Улина, артистка драмы — оживленные, смеющиеся, с мокрыми от дождя лицами. Руки у них были оттянуты сумками, сетками, из которых торчали сургучные горлышки бутылок, свертки с колбасой, рыбой, яблоками и еще какой-то снедью. А Эджин к двум своим сумкам еще нес под мышкой проигрыватель.

Серая оберточная бумага на покупках потемнела и расползлась. В пышных Наташиных волосах, взбитых над головой зыбкою копной, дождинки сверкали жемчужинами. С полиэтиленовой накидки Эджина капало. Тоже мне рыцарь! — не догадался отдать накидку Наташе, одетой в легкомысленное, с вырезом во всю спину платье.

Они не ожидали застать меня дома, враз оборвали смех и разговоры и сконфуженно затоптались у порога.

— Разве ты не улетел? — нахмурясь, спросила Татьяна.

— Как видишь, — развел я руками.

— И не полетишь? — допытывалась она.

— Почему же? В три часа. Последним рейсом, — и чтобы успокоить ее, вытащил из кармана длинный, словно крупная ассигнация, авиационный билет. Зачем вытащил? Унизительный жалкий жест — точно оправдывался, что нахожусь сейчас не где-нибудь под дождем, а в своем доме.

Татьяна хмыкнула и направилась с ношей в кухню, сказав через плечо:

— Несите за мной. Впрочем, познакомьтесь сперва.

— Ну, я-то Виктора тысячу лет знаю! — с преувеличенной радостью вскрикнул Эджин и, опустив на пол сумки и проигрыватель, бросился ко мне с протянутой рукой. — Здорово, старик!

— Здорово! — в тон ответил я.

— А вот мы не знакомы, — с неожиданной для актрисы застенчивостью призналась Наташа.

— А я вас давно знаю. Как-никак соседи. И в театре видел.

— Правда? — обрадовалась она.— В каких, интересно, ролях?

— В «Касатке», в «Норе».

— Не понравилась, поди?

— Мило. Очень мило.

— Какое противное слово! Если бы по поводу ваших статей кто-нибудь сказал — «мило», как бы вы отнеслись?

— Да никак, наверно. Пеплом голову бы не посыпал.

— Ну уж нет, не поверю.

— Эдик, Наташа, где вы? — ревниво крикнула из кухни Татьяна.

— Идем, идем, — отозвалась Наташа.

Меня не звали. Я прошел в спальную и с ботинками лег навзничь на кровать. Дождь на улице перестал. Посветлело. А я-то втайне надеялся — разойдется, затянет небо, и отменят в аэропорту все рейсы: совсем не улы-

балась мне предстоящая командировка. А лететь — надо. И не только потому, что этого хочет Татьяна. Если бы только она одна хотела, я бы, черт подери, еще подумал, лететь или не лететь.

Два дня назад, обеспокоенный судьбой документов, позвонил в редакцию Крапивин. И надо же было ему попасть на Петра Евсеевича. На любого другого попади и не возникло бы никаких разговоров шепотком, которые уже через час, словно ужи, поползли по всей редакции: ш-ш-ш, ах, что вы говорите и т. д. Петр Евсеевич тут же с головой выдал меня Крапивину: кому вручили папку — это же муж Красовской! Прокричал в трубку и собственную оценку события: безобразие, желтопресничество, беспринципность! А Крапивин в благодарность за сочувствие передал ему исчерпывающую информацию о том, как я проводил время в Уганске. Ну, и закрутилось... Петр Евсеевич не сразу пошел к редактору, забежал сначала к Манефе, ей поведал о ЧП, и уже вдвоем предстали они перед Иваном Гордеевичем.

Реакция Манефы понятна: до сих пор не простила, что некогда пренебрег ее племянницей, женщины такое долго помнят. Петр Евсеевич действовал из более сложных побуждений.

В газету он пришел почти одновременно со мной, на месяц, может быть, раньше, до этого всю жизнь работал в комсомоле: во время войны — секретарем сельского райкома, после — в обкоме инструктором, заведующим отделом, и мог бы, наверное, там до старости просидеть, если бы комсомол не был возрастной организацией. А Петру Евсеевичу подбиралось к сорока.

Шесть лет минуло, как он расстался с комсомольской работой, а он все не мог ее забыть, все вспоминал, все сравнивал комсомольские порядки с редакционными, не в пользу, разумеется, последних. Случалось: летучка у

нас запоздает, какое-нибудь собрание перенесут на следующий день, и пунктуальный Петр Евсеевич уже страдает, ворчит с тоскою: «То ли дело в комсомоле. Сказано в пять, и хоть разбейся, хоть кровь из носу, а в пять состоится! Дисциплина! А здесь какая-то шарашкина контора». На наших летучках и собраниях насядут на кого-нибудь за плохонький материал — только пух летит; потом обиженный неделю не здоровается со своими критиками, дуется, в глаза не смотрит, а Петр Евсеевич опять возмущается: «Попробовал бы он в моей прежней организации руки после критики не подать, да ему бы на первом же собрании, на первой же конференции так бы еще добавили — свету белого не взвидеть».

И Петр Евсеевич слов на ветер не бросал, собственным примером показывал, как надо относиться к критике. Поругают его на летучке, а это случалось очень даже часто, и он начинает здороваться со своим критиком с особенной любезностью; если утром не встретит его в вестибюле или коридоре, то и в отдел зайдет пожать руку...

К чему Петр Евсеевич был совершенно нетерпим — к пьянству. Ни одно собрание не обходилось без того, чтобы он не выступал на эту тему. Даже в том случае, если не было проштрафившихся. Вспоминал старое. Вот, мол, Мутовкин написал хороший очерк, а почему? Потому что выпивать перестал, не слышно в последнее время. «А я разве выпивал?» — ощетинится Куб, которому из-за неумения пить каждый раз не везло. «Го-го! Запамятовал! Кто на заметку милиционера попал?» «Когда?» — удивляется Куб. «Два года назад. В командировке»... А не проштрафившегося он умел так похвалить — уж лучше бы ты проштрафился: «Ты думаешь, Козлов, твой заведующий, не пьет? Может, еще побольше. Но нигде не шарашится. Выпьет — и в постель».

...Я не знаю в жизни ничего хуже и опаснее тех людей, у которых извращены понятия о добре и зле, честности и бесчестности, правде и лжи. В самом деле страшно: человек из добрых побуждений творит зло, из-за искаженных представлений о честности вершит бесчестные дела, под видом правды проповедует бессовестную ложь! Случится разговаривать с таким человеком, испытываешь чувство, будто ты с ним живешь в разные времена и в разных мирах.

Легко представить, что за разговор произошел в редакторском кабинете... А ваш-то любимчик! Хи-хи! Какой фортель выкинул в последней командировке! Сейчас только звонили. Сведения не вызывают сомнений. Из первых рук... Упился до положения риз. Ввел в заблуждение уважаемого человека. Обманом выманил папку с очень важными документами. Цели очевидны: в документах — компрометирующий материал о его жене. Следует срочно разобраться с Козловым. Иначе на газету, на всех нас падет тень. И разобраться принципиально.

— Принципиально! — Петр Евсеевич непременно повторил свое любимое словечко. — Что он собирался делать? Может, уничтожить документы и — концы в воду!

Иван Гордеевич, разумеется, объяснил: намерений у меня таких не было, ибо о документах я доложил уже на следующий день.

Однако некоторые сомнения появились и у редактора. Это я сразу понял, войдя по вызову в его кабинет. Иван Гордеевич хмурился и раздраженно щелкал длинными ножницами; в другое время он выхватывал ими из полосы непонравившиеся материалы.

Я доложил: история открытия месторождения уходит корнями к некоему Каленову, проживающему на заброшенном прииске... «Ну, вот и поезжай. А то ненужные разговоры поползли по редакции. И возьми с собой Му-

товкина. Одна голова — хорошо, две — лучше... Школьников навестите, они ведь там где-то близко».

Мы с Кубом собирались вылететь еще накануне, в субботу, но в субботу я не дождался дома Татьяны — ночевала вместе с Маринкой у родителей, и поэтому остался на воскресенье. И Куб тоже — куда он без меня? Я во что бы то ни стало должен был переговорить с Татьяной. Спокойно, по-хорошему. А то чего доброго, пока мотаюсь в командировке, и в самом деле удерет. Из-за чего? Не сдержался, поднял руку... Признаюсь — виноват. Разве нельзя простить? Неужели расходиться? А Маринка? А пять лет? А наша любовь, черт подери? Нет, нет и нет!

«Хоть бы скорее убрались! — думал я про гостей.— Не могу же окладывать командировку до бесконечности».

В кухне звенели посудой, смеялись, переговаривались. То и дело слышался голос Эджина, самоуверенный, ироничный. Впрочем, какой он Эджин? По паспорту — Евгений. То есть Женя, Женька. Неплохо звучит. Может быть, даже лучше, чем Эджин, Эдик, Эд, но что поделаешь, коли человек лишен слуха. Пускай Эджин. Теперь он работал в институтской многотиражке; до многотиражки, слышал, стоял продавцом в книжном магазине и еще занимался чем-то совершенно неожиданным — тоже не розами и коврами устлан путь.

...Наташа Улина жила через дом от нас на первом этаже; по вечерам ее окно завешивалось афишами, буквами внутрь; когда в комнате зажигался свет, буквы проглядывали сквозь толстую афишную бумагу и, читая с улицы наоборот, можно было узнать, какие спектакли шли в городском театре.

— Правда, мила? — шепотом спрашивала Татьяна, когда неделю назад мы вместе смотрели «Касатку». — Легкая, изящная!.. А целуются, думаешь, они понарошке,

театрально? Ничего подобного! Взаправду! У них любовь!

Там, на сцене, Наташа в это время обнималась с высоким, в летах, мужчиной, одетым почему-то под купчика, хотя по пьесе он барин, — в расшитой косоворотке, в мягких расписных сапожках. Мужчина увлек Наташу на скамейку, запрокинул на спину, и оба на какое-то время замерли в объятиях друг друга. Лиц их не было видно. Я на миг представил, как они там целуются взаправду, и отвел глаза в сторону: оказывается, чертовски неприятно, когда на сцене страсти не изображаются, а торжествуют всерьез.

— Нашли место! — с брезгливостью сказал я.

— Ничего ты не понимаешь! — рассердилась Татьяна. — У них любовь. И давно. Но он женат и не может оставить ту. Понимаешь, он познакомился с той в немецком концлагере. Вместе бежали, воевали в Маки. Да, да, во Франции. Он был тяжело ранен, и она выходила его и после войны привезла в наш город. Теперь он считает себя обязанным...

— И правильно.

— Ничего не правильно. С Наташей они любят друг друга.

— Надо же так набекрень думать! Честнее было бы, если бы он совсем ушел от жены, чем вот так, на глазах у тысячи людей! — и я махнул рукой на сцену.

— Ничего ты не понимаешь, — повторила Татьяна и презрительно отвернулась.

Меня озадачила не столько Наташина история, сколько наши с Татьяной расхождения в ее восприятии. А еще недавно мы почти обо всем думали одинаково.

...В кухне Эджин завел деловой разговор:

— После дождика и согреться бы не мешало! Да и труд мой кое-что стоит.

— Не жалко,— ответила Татьяна.— Открывай.

«Окружает себя артистическим обществом, — все сильнее раздражаясь на гостей и хозяйку, думал я. — Как же! Без пяти минут кандидат наук, первооткрыватель, знаменитость, и гости вроде Куба уже не годятся в компанию — слишком простоваты».

— Почему уединился? Или гостям не рад? Татьяна Сергеевна разрешила бутылочку коньяку открыть.

Надо мной стоял Эджин. Полиэтиленовую накидку он снял, и я не без зависти оглядел его модный пиджак с разрезами по бокам, белоснежную сорочку, тоненький галстук, лакированные мокасины, которые он ухитрился даже по дождю не забрызгать, — ну да, нам с Кубом до таких образцов далеко.

— Умеешь, — сказал я.

— А тут и уметь нечего, — с одного слова понял Эджин. — Привычка, вкус. Ну, хватит куражиться. Вставай. Век с тобой не выпивали.

Я поднялся. Эджин обнял меня за плечи, и так, в обнимку, раздрузьями, мы появились в кухне.

Татьяна и Наташа разбирали из сеток продукты.

— Много наприглашала? — спрашивала Наташа.

— Человек тридцать.

— И ты надеешься управиться?

— Мама вечером придет. На ночь останется. Она все и сделает. А по магазинам Эдик. Сам назвался.

— Не мог же я упустить возможность послужить науке, — сказал Эджин, выбивая из бутылки пробку.

— Да, Эдик, не подведи с икрой.

— За кого ты меня принимаешь?

— А как же так Витя уезжает? — сочувственно спросила Наташа, подняв на меня голубые глаза. — Что за такое срочное дело? Нельзя отложить? Ведь защита кандидатской раз в жизни.

— Будет еще и докторская.

— Нехорошо, нехорошо, — Наташа погрозила пальцем. — Признайтесь: отлыниваете от своих обязанностей. Сейчас бы по магазинам бегать.

— Признаюсь, Наташа, в точку попали.

— Дамы и господа! Налито. Прошу к столу, — призвал Эджин. Он же первым и рюмку поднял. — За удачу, за то, чтобы завтра — без сучка, без задоринки.

— Ах, ведь завтра еще и защита! — в испуге вскрикнула Наташа.— Страх-то какой! Наверно, боишься? Волнуешься?

— Не особенно, — усмехнулась Татьяна, прикуривая сигарету. — Я сдам любой экзамен, защищу любую диссертацию, лишь бы экзаменаторами были мужчины. С ними легче договориться. А завтра так и будет.

— С твоим открытием завтра бы любая дурнушка защитила, — польстил Эджин.

— Недавно мне один парень про себя рассказывал, — вмешался я в разговор.— Сначала из института его выгнали, а потом отец — и из дома. Но на первое время отец дал-таки ему пятьсот рублей. Парень приехал на стройку. Осмотрелся. Познакомился с начальством. Пригласил в ресторан. За один вечер выкинул триста рублей. На другой день пошел устраиваться. Начальство, естественно, рассудило: если за один вечер швыряет по триста рублей, то его оклад должен быть по меньшей мере триста пятьдесят: и жить еще надо. И назначило на соответствующую должность.

— Не могу осилить твоей анекдотической аналогии, — вспыхнув, проговорила Татьяна.

— Ты — вроде тех трехсот рублей. И оправа для тебя в сто пятьдесят или двести уже не годится. Подавай в триста пятьдесят. Ну, как, скажем, такая красивая женщина может жить в одной комнате? Дать ей двухкомнатную квартиру! Или как ей поставить тройку или завалить

диссертацию? Обязательно пятерку, а диссертацию признать новым словом в науке!

— О, я и забыла... квартирой ты обязан мне. Только мне!

— Считай ее своей.

— Ты слишком великодушен. Но я не воспользуюсь...

Наташа хлопала глазами и не понимала, ссоримся ли мы или попусту болтаем, а вот Эджин, по-моему, угадывал потаенный смысл перебранки — надвинулся локтями на стол, насторожил локаторами на Татьяну уши.

Перехватив мой взгляд, Эджин распрямился.

— Бог мой! — вздохнул он. — Почему, когда под стол пешком ходил, никто не надоумил меня про геологию? Вокруг талдычили: искусство, литература, журналистика! А что они в наше время стоят? Геология — единственная профессия, где можно чего-то добиться. Свобода, инициатива и в рюкзаке — маршальский жезл, — он не оставил привычку чужие слова выдавать за свои. — Выбросили в тайгу — ходи, броди, не жалей ног, а что найдешь — все твое: месторождение, слава, деньги, ученые степени. Да, не ту профессию мы с тобой, Виктор, выбрали. Никакой отсебятинки! Словами только и можно поиграть, зеленое назвать бирюзовым, изумрудным, голубое — синим, а мыслями — ни-ни-ни!

— А ты хоть раз пробовал выступить с какой-нибудь отсебятиной? — спросил я.

— Нет.

— Тогда нечего зря трепаться.

— Ну, это уже удар ниже пояса. Сам знаешь: никто бы ее печатать не стал... А я тоскую по широте, непредвзятости. Я и в книжную торговлю ударился, чтобы показать дуракам, что может сделать человек без предрассудков... Зашел как-то в магазин: полки забиты, под прилавками горы. Мелькнула мысль: вот бы пошерудить

этими миллионами! Мелькнула и застряла в мозгу. Ночь не спал, думал — нельзя ли расчистить авгиевы конюшни. Целую программу надумал — семнадцать пунктов. Наутро пошел к директору книготорга. «Хотите, за месяц выпотрошу один из ваших магазинов?». Тот глаза выпучил — не сумасшедший ли явился? А когда я растолковал ему по пунктам всю программу, пришел в дикий восторг и немедленно назначил меня директором магазина. На время, конечно.

— Ну, и как? Расчистили? — нетерпеливо спросила Наташа, слушавшая Эджина с простодушным любопытством.

— Еще бы! — рассмеялся Эджин. — Первым делом навел справки, где и какие совещания готовятся в городе. Повезло. Совещания чуть ли не каждый день. Учителя, врачи, строители, инженеры, юристы — все совещались. В магазине закипела работа. До ночи сидели мои продавцы и комплектовали библиотечки. Каждая библиотечка по рублю — ни копейкой дороже, ни копейкой дешевле. Днем ездили по совещаниям. Прибудут за полчаса, встанут в дверях вместо контролеров. И кто заходит — в руки библиотечку: «С вас рубль! В обязательном порядке. Иначе не пропускаем». «Нет рубля? Займите у знакомых».

— Да это же насилие! — всплеснула руками Наташа.

— Всего-навсего пропаганда книги! А главным козырем была лотерея. С холодильником. Достал с базы «Саратов», поставил на прилавок. На улице — транспарант: за рубль можно выиграть холодильник. Пошел народ. Очереди у прилавка. Книги рекой потекли.

— А если бы холодильник сразу же выиграли? — с наивной тревогой спросила Наташа.

— Ха-ха! За кого ты меня принимаешь? Даже это предусмотрел. Выигрышный билет до поры до времени

лежал в стороне. Выложил, когда уже продавать было нечего.

— Надувательство! — гневно стукнула кулачком по столу Наташа, будто сама принимала участие в лотерее и прогорела.

— Не обманешь — не продашь, — развел руками Эджин. — Зато полки оголели, подвал впервые познакомился с метлой... Не то восемь, не то девять месячных планов дал! Продавцам — премия. Мне — три оклада. Директор книготорга, расставаясь, прослезился, умолял остаться. «Нет, — заявил я, — ждут другие конюшни, — и подарил ему на память свои семнадцать пунктов. — Штудируй, учись!».

— Ох, и Эдик, — сквозь смех выговорила Татьяна. — Просто молодец!

— Ничего молодеческого не вижу, — сведя рыжие бровки, нахмурилась Наташа. — Надувательство и цинизм!

— Опять удар ниже пояса. От женщины-то уж никак не ожидал получить его.

— Да ну тебя! — отмахнулась Наташа.

Здесь, за столом, Наташа нравилась мне куда больше, чем на сцене. Руки и плечи в мелких веснушках, бровки рыженькие, и если бы не пышная, копной, прическа да открытое со спины платье, она бы и на актрису не походила — заводская девчонка или, на крайний случай, студентка. Нравилось мне и то, что держалась она застенчиво, осмотрительно и даже отдаленно не напоминала тех самоуверенных, знающих тебе цену героинь, каких играла на сцене. Если актриса в жизни застенчива, а на сцене — смела и уверенна, это уже кое-что значит. «У такой и любовь могла быть посчастливее», — невольно посочувствовал я Наташе.

Эджин снова поднял рюмку:

— За удачу!

— Все за удачу, да за удачу. Так можно и пропить ее, — смеясь сказала Татьяна и отодвинула свою рюмку на середину стола.

Она берегла себя к завтрашнему дню, к защите. А Наташа выпила, и глаза ее влажно заблестели. Губы сложились в бездумную легкую улыбку. Она придвинулась ко мне и игриво спросила:

— Виктор, когда же вы, наконец, напишете обо мне статью?

— Долго не напишу, Наташенька. Вы сделали роковую ошибку: сели со мной за один стол. Теперь напиши о вас что-нибудь хорошее, скажут: приятельские отношения, коньяк вместе пьют. Хотя бы вот он скажет, — кивнул я на Эджина, вышедшего из-за стола и настраивающего на подоконнике проигрыватель.

— И ты думаешь, он шутит, — усмехнулась Татьяна, раскуривая новую сигарету. — Как бы не так! У него психология такая. Психология человека в широких штанах.

Наташа проворно нагнулась и заглянула под стол.

— Нормальные брюки. Не шире, чем у Эджина,— распрямившись, заступилась она за мои брюки.

— Брюки обузить можно, а вот мозги перекроить труднее. Прославься мать родная, он и строчки о ней не напишет. А сделай она что-нибудь плохое — фельетон сочинит. Всегда пожалуйста.

— Видите, какой я, — сказал я Наташе.

— Не верю, не верю, — замотала она головой. — Татьяна сердится, что вы на банкете не будете.

— Сердится, — согласился я.

Татьяна презрительно покосилась в мою сторону.

На подоконнике забил барабанно твист.

Я наполнил рюмку, одним духом выпил и взглянул

на часы — на самолет еще рано. Однако я решил выходить: теперь, после коньяка, гостей все равно не переждать.

Попрошу Татьяну проводить до крыльца и там с ней поговорю. Скажет: оставайся — никуда не поеду.

Я поднялся и прошел в ванную, где у меня лежал приготовленный в дорогу рюкзак; в него перекочевало из карманов плаща командировочное снаряжение: мыло, полотенце, зубная щетка, паста, бритвенный прибор.

Проверив в рюкзаке, все ли на месте, я посмотрел на себя в висевшее над раковиной зеркало. Перевернуло! Глаза запали, блестят затравленно. Лицо осунулось, потемнело, без того большой нос словно бы еще вытянулся. Что она нашла во мне пять лет назад? Ни одной утонченной черточки. Грузчик! Тяжелые, кирпичами, плечи — грузчичьи. Руки — грузчичьи. Широкая спина — только мешки таскать. Ах, и надо было идти в грузчики. Тогда бы не позарилась на меня такая. Да и жизнь была бы проще. Я вспомнил своего отца. Придет с работы сморенный, черный от угольной пыли — только шея из-под воротника белеет; а у мамы уже наготове котлы с горячей водой; разболокется до пояса, склонится над рукомойником и целый час отфыркивается в усы, сопит, крякает, и столько в этом сопении и кряканье сквозило удовольствия и неизвестно откуда родившейся вновь радостной телесной силы, что меня всякий раз разбирали завидки... Я и сейчас поймал себя на том, что завидую его простой жизни.

В зеркало я увидел Эджина. Он старательно прикрыл за собой дверь и деликатно осведомился:

— Лишнего хватил?

— Раздумываю, не побриться ли.

— Вроде нечего брить.

— Нечего так нечего.

Загораживая проход, Эджин стоял за моей спиной.

— Краем уха слышал, будто вы с Татьяной Сергеевной уезжать собираетесь?

Я резко обернулся и застал глаза Эджина врасплох; и хотя он тут же поспешил прикрыть их веками, я успел прочесть — он все знает.

— Ложный слух.

— Я тоже так решил,— сказал Эджин и, пробравшись мимо меня к раковине, стал мыть руки. — Когда услышал — уезжаете, подумал: как бы у вас квартира меж пальцев не ушла.— Он растопырил под краном руку и показал, как уходит меж пальцев вода.— За нее ведь можно получить хороший куш.

— Не понимаю.

— Ты переписываешь на кого-нибудь ордер, а тот тебе деньги. С глазу на глаз. И шито-крыто. Ни одна душа не пронюхает.

Далеко вперед смотрел Эджин! Он уже видел: с Татьяной мы разошлись, она переезжает к своим родителям, а я, убитый горем, бросаю работу, бросаю квартиру и качу на край света искать утешения. Ох, и Эджин! Ну, и Эджин!

— И кто же мне выложит за казенную квартиру деньги? — тихо спросил я и, чтобы унять неожиданную дрожь в руках, спрятал их под мышки.

— Да я, например,— обернулся Эджин.— Не поскуплюсь... Я ведь догадываюсь — решаетесь на что-то с Татьяной. Подумай. И по рукам.

С этим мы тоже жили в разное время и в иных мирах.

Дольше я не мог сдерживаться. Высвободил руки. Правой ухватил сзади Эджина за шею, сжал ее, чувствуя — сожми чуть посильнее, и я задушу его, левой — поддал под зад. Эджин ойкнул и захрипел.

— Тише, Эдик!— сказал я.— Тише, Женя! Тише, как там тебя еще!

Он на полголовы длинне меня, и я его пригнул, чтобы удобнее держать.

— Ни звука!

Я отворил дверь и посмотрел в кухню. Женщины сидели спиной к нам. Я вывел Эджина в прихожую и вытолкнул на лестничную площадку.

— С ума сошел! — пролепетал Эджин, стукнувшись об стенку.

— Мразь! — сказал я. — Дерьмо! И забудь дорогу в этот дом! Если даже меня здесь не будет! — и прикрыл дверь.

Я, наверно, не все проделал тихо. В прихожей тотчас появилась Татьяна и подозрительно уставилась на меня.

— Где Эдик?

— Может, домой пошел, может, в другое место.

— Не попрощавшись?

— По-английски. Он же джентельмен.

— Ты его выгнал?

— Выплеснул на помойку.

— Тупое животное! Пользуешься своей физической силой!

— Надо же ее куда-то девать.

— Что у вас с ним произошло?

— Он мне не нравится.

— Уж не ревнуешь ли ты его ко мне?

— Полно. У тебя уже становится манией, будто все помешаны на твоей красоте.

— Не мания, а так оно и есть. Ты ведь тоже меня любишь. Только бодришься.

— А пошла ты к черту! — крикнул я, вернулся в ванную и закинул на плечо рюкзак.

Потом мы стояли у порога: я — на площадке, а Татьяна в прихожей, чужая, с сомкнутыми губами. Я смотрел в ее серые, словно гранит, глаза и понимал — не надо ни о чем просить, ни о чем говорить, все слова будут осмеяны, отвергнуты, унижены.

— Когда вернешься? — сухо спросила Татьяна.

— Не раньше субботы.

— Только не раньше. Смотри не подведи. Я к этому времени переберусь.

И мы замолчали. Через минуту Татьяна нетерпеливо спросила:

— И долго здесь стоять будем?

— Пока не надоест.

— Мне уже надоело!

И передо мной встала дверь, в метре над полом исчерканная Маринкой разноцветными карандашами.

Я вышел из подъезда. Земля после утреннего дождя была влажной. Тощий рюкзак хлопал по спине. Времени у меня хватало, и я пошел в аэропорт пешком. Очень сильно, как всегда после дождя, палило солнце. Меня же трясло от холода. Холод поднимался откуда-то из желудка и растекался по всему телу. Отвратительная дрожь сотрясала и грудь и руки, и я никак не мог унять ее. Так, наверно случается с самолетом: сломается в его сложном организме один из многих тысяч винтиков, и самолету трястись в дикой тряске, пока не разобьется о землю. Неужели и я разобьюсь?

По временам я забывал, куда иду, зачем. Потом приходил в себя, оглядывался — шел я правильно, в аэропорт. В голове барабанно гремел твист. На выходе из города он внезапно оборвался, и до меня донеслась озлобленная ругань.

Я обернулся. В двух метрах, поперек влажной дороги, упершись носом в кювет, стоял пятитонный самосвал:

стертые шины дымились паром; из окна кабины высунулся шофер и бешено орал:

— Жить надоело! Такую-растакую!.. Ослеп?

Машина, по-видимому, чуть не сбила меня. Спасло то, что ее развернуло на скользкой дороге. Догадка эта нисколько меня не испугала.

Впереди белел оцинкованный шпиль аэропорта. По ту и другую сторону дороги простирался пустырь, заваленный строительным мусором. На пустыре с кучи на кучу прыгали растрепанные после дождя вороны. Я присмотрелся к ним, и меня кольнуло сочувствие к бездомным птицам. Я сам чем-то походил на ворон и, пожалев их, словно бы пожалел самого себя.

Перед входом в аэропорт на меня наскочил Куб и сразу же принялся отчитывать:

— Пижон! Где пропадал? И почему не зашел? Договаривались ведь! Давай билет, регистрация началась.

Рядом с озабоченным Кубом, одетым по случаю командировки в потрескавшееся кожаное пальто, сапоги и старенькую измятую шляпу, мне было уже не так одиноко и бездомно, как несколько минут назад на дороге.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

По размытой дождями каменистой тропе мы забрались на вершину горы и внизу, впереди, увидели широкую, в серебристых блестках реку, а перед ней десятка полтора рубленых изб, заросших чуть не по самые крыши высокой травой.

Гора с зеленой хвойной гривой по вершине выгибалась подковой; ее края голыми отвесными скалами обрывались в реку, и по берегу в поселок нельзя попасть было ни с той, ни с другой стороны; попадали только через эту гору, с вершины которой он весь открывался, как на ла-

дони. Нежданно-негаданно. От первого до последнего домика. Потому, верно, и Нежданный.

Далеко запрятался Каленов. Не сразу найдешь. От Уганска мы добирались до него около суток. Сначала по знакомой уже мне «вчерне готовой дороге» ехали на попутной машине, потом километрах в пятидесяти от Шамансука сошли, переночевали в палатке взрывников и рано утром заброшенной старательской тропой, местами задерненной, местами разрытой ручьями в глубокие овраги, двинулись дальше.

От серой росистой травы струйками отрывался туман. Под кронами деревьев он собирался в тонкие колыхающиеся полотна, отчего золотистые стволы сосен снизу казались обезглавленными столбами, а их зеленые вершины будто сами по себе парили в воздухе. Меня не трогали никакие красоты. Я шел и шел, чтобы почувствовать хоть усталость, но и она не приходила. Время от времени оглядывался — Куб тащился на версту сзади. Поджидал.

Потом поднялось солнце, трава высохла, рассосались, растаяли белые полотнища, стволы сосен соединились с вершинами — и Кубу стало совсем плохо. Я отобрал у него кожаное пальто, шляпу, куртку, затолкал их в свой рюкзак, но и это мало помогло — сопел, пыхтел, отставал. Когда мы поднялись на вершину горы, его белая рубашка насквозь промокла — хоть выжимай, с носа и подбородка обильно капало. Он упал на камни, простонал:

— На кой хрен приперлись сюда? Убежден: Каленов ни черта не знает. Какой-нибудь сумасшедший или сектант. Подходящее для сектантов место — глушь, пустыня!

— Потерпи, скоро выяснится,— сказал я, разглядывая поселок и пытаясь угадать избу, в которой мог бы

жить Каленов. Но все избы казались одинаково заброшенными, нежилыми; в трех или четырех сквозь крыши проросли березки.

Каленова я представлял этаким бывалым охотником — в кожаной фуражке, в кожаной куртке, перепоясанной поношенным патронташем, с дремучей бородой. Не охотнику тут нечего делать — никакого интереса.

Куб отлежался, и мы стали спускаться в поселок.

Ах, что-то скажет Каленов? Как бы хотелось услышать: подтверждаю, Красовская одна открыла месторождение!

Мы шли по улице, заросшей жесткой высокой метликой. При каждом шаге с мохнатых метелок облетали семена, засыпали сапоги. Над головами грозно гудели оводы.

Справа и слева — избы. Некоторые — с застекленными окнами, другие — совсем без рам. Из пустых проемов тянуло затхлым мышиным запахом. Кое-где избы были растащены, и на их месте густыми темными купами росли вперемежку крапива, лебеда, конопля. Крапивы — больше. Почему-то думалось: под этими купами — холодные глубокие ямы.

И вообще было как-то жутковато, точно на кладбище. Не верилось, что тут годами живет в одиночку человек. «Как он ночью-то ходит? Бр-р-р!»

Мы прошли поселок из конца в конец и не нашли ни самого Каленова, ни его следов. Даже тропинки не обнаружили в высокой густой метлике.

— Надули! — мрачно сказал Куб.— Никого нет. Да и какой дурак станет жить на этом кладбище. Ну и влипли! Теперь — обратно? Меня уже ноги не тащат.

Тут я заметил: между двумя полуразрушенными избами, обращенными задами к реке, над обрывом, время от времени что-то вспархивает, взблескивает белое.

— А ну-ка, завернем сюда,— сказал я.

Обойдя дремучие кусты крапивы, мы вышли на обрыв.

В реке, далеко от берега, стоял в резиновых сапогах небольшого роста человек. В руках у него была длинная белая удочка, она и вспархивала над обрывом, на лямке через плечо висел серый холщовый мешок, оттянутый мокрой тяжестью. С мешка длинно капало рыбьей слизью.

Рыбак нас не замечал. Через равные промежутки времени он взмахивал удочкой, забрасывал яркую красную мушку, подвязанную к концу лески, на середину реки, на быстрину, здесь ее сразу же подхватывало течение, тащило вниз, подкидывая на мелких волнах. На мушку выпрыгивали хариусы, мелькая то голубым брюшком, то темным широким хвостом. Хватка у них была неуверенная, дневная, ни один не мог толком зацепиться.

Из-под ноги Куба сорвался камешек и скатился, булькнув, в воду. Человек обернулся. Увидев нас, не выразил ни удивления, ни испуга и тут же снова вернулся к своему занятию.

Наконец, хариус зацепился всерьез. Рыбак выкинул его себе на грудь, без суетливости, сноровисто отцепил от якорька, опустил в мешок, и мешок тотчас заходил на боку.

Каленов неторопливо смотал удочку, выбрел из воды и поднялся на берег.

Вблизи он был еще меньше: высокие резиновые сапоги, упираясь в пах, морщились, как на подростке,— этакий мужичок с ноготок! Лицо усохшее, морщинистое; в жестких, давно не стриженных волосах — седина, а в угольно-черных глазах — нездоровый воспаленный блеск.

— Туристы? — спросил он сдержанно.

— Нет.

— Геологи?

— Тоже нет.

— Хм,— теребнул он мокрой рукой щетинистый подбородок.— Ну, да все равно. Пройдемте в избу — свежей ушкой угощу.

— Мы из газеты,— сказал я.— Специально к вам, Алексей Николаевич.

— Ко мне? — не слишком удивился он и, не добавив больше ни слова, зашагал впереди нас.

По мертвым улицам он, вероятно, никогда не ходил, поэтому мы и не обнаружили там никаких следов, а ходил тут, по берегу — к избе вела узкая тропинка.

Изба тоже смотрела окнами не в улицу, а на реку. На чистеньком, выскобленном крылечке жмурилась кошка. А в самой избе нас встретила недружелюбным ворчанием лохматая собачонка.

Хозяин ввел нас и сразу вышел. А мы с Кубом, потоптавшись у порога, прошли в передний угол и сели на скамейку. Куб прислонился спиной к бревенчатой стене, вытянул ноги — задремал. Я с любопытством огляделся. Слева от меня — широкие дощатые нары, напоминающие полок в русских банях, на них бедная постелька: тощий матрасик, овчины, одеялишко ватное, залощенное. Над изголовьем — полка, заставленная аптечными пузырьками, банками. Грубый, на крестовинах, стол. Сколоченные на скорую руку — на чурбаках — скамейки. Бедность, необжитость — словно в охотничьей избушке. Но в охотничьих избушках люди живут наездами — день, два, неделю, а этот здесь — постоянно. Что его держит? Явно не охотник. Даже ружья нигде не видно. Похоже, в самом деле сектант — забитый, равнодушный, болезненный.

Каленов воротился в избу с котелком в руках. Из котелка шел пар. Вкусно запахло вареной рыбой. Куб шмыгнул носом и открыл глаза.

Выставив на стол миски, насыпав груду сухарей, Ка-

ленов кивком головы пригласил нас к ухе. Куб бросился чуть не бегом. Навалил в миску сверхом рыбы и пошел работать ложкой — туда-сюда, туда-сюда. Я тоже пристроился к столу. Хозяин от ухи отказался — отобедал недавно,— влез на нары, свесил над полом короткие ноги и, вытащив из кармана кожаный кисет, стал сворачивать цигарку.

У меня не было никакого аппетита, вяло ковырялся ложкой в миске и думал — прибрели мы в пустынный поселок совершенно напрасно. Что может знать этот мужичонка? И вдруг вспомнил: заявление охотника, нотариальный штамп... Не тот ли это «таинственный незнакомец», посылавший Крапивину гальку? Я заволновался. Оттягивать разговор больше не мог.

— Скажите, вы ничего не слышали о Шамансуке?

Куб досадливо кашлянул: нашел-де время спрашивать и еще яростнее заработал ложкой.

Каленов внимательно поглядел на меня своими воспаленными глазами, усмехнулся чему-то и ответил:

— Слышал.

— Да, да! — заторопился я.— Нам в городе говорили, будто вы знаете и кто там руду нашел?

— Знаю,— ответил он все с той же усмешкой.

— Кто же? — чуть не криком вырвалось из меня.

— А я и нашел ее,— буднично, словно речь шла о само собой разумеющемся, ответил Каленов.

Куб поперхнулся и пробормотал про себя в миску:

— Еще один сын лейтенанта Шмидта!

Я с тоской подумал: и этот туда же — в первооткрыватели, в герои метит! Что они — все с ума посходили?

— Ну и когда вы нашли руду? — вяло спросил я.

— Давненько. До войны еще.

Час от часу не легче. Жестким голосом я задал еще один вопрос:

— Почему же о месторождении стало известно два года назад?

— Длинная история.

— У нас время есть. К тому же ради нее мы и пришли сюда.

— Можно и рассказать. Не впервой, — опять усмехнулся Каленов.

— Почему не впервой? — насторожился я.

— Расспрашивали уже. Специально из Уганска приезжали...

— Кто?

— Геолог Крапивин.

— Крапивин!? — удивился я и вдруг подумал: сидящий передо мной маленький человек действительно может быть главным лицом в запутанной истории Шамансука.

— Рассказывайте, рассказывайте,— подтолкнул я его.

— До войны я поисковиком тут работал. После техникума направили. Прииск был небогатый. За счет старательских бригад только и держался. Найдет поисковик — значит, я — на какой-нибудь речке признаки золота — туда и бригаду. А мне дальше на поиск. Ходил в одиночку. По речкам, по ручьям, по ключам. Мыл шлихи. Километров за сто все окрест излазил.

Однажды забрел на речку Шамансук. Взял в устье несколько шлихов — пусто. Дальше пусто. В самом верху, где речка уже ручейком журчит, увидел сбоку распадок. В него сунулся.

А меня не только золотишко интересовало, но и всякие другие породы. Ведь и по другим породам можно напасть на золотой след. Если не мыл шлихи, то с молотком ходил. Камешки отбивал, в лупу рассматривал.

В распадке я уже в тупик забрел — дальше некуда,

горы стеной. И вдруг отбитый осколок показался мне на редкость тяжелым. Я — за лупу. Руда. Осколок такой сизоватый, с тоненькими белыми змейками кварцита. Самая настоящая магнетитовая руда! Еще кусок отбил. Опять руда! Прямо на поверхности... Два дня проползал в распадке. Дерн сдирал, канавы во мху рыл, чтобы определить простирание залежи. Запасы даже на глазок прикинул: не меньше двухсот миллионов тонн. А в глубине еще сколько! Полный рюкзак набил образцов. Из разных мест взял для верности. План месторождения набросал на бумажке. И — домой.

Лечу на парусах, пудовой тяжести не чувствую за спиной. Прибежал — не узнаю поселка: улицы пустынны, ребятишки, бабы голосят по избам. Война! Захожу к себе, а меня уже повестка из военкомата дожидается.

Куб уже давно отодвинул от себя пустую миску и, вытащив из кармана блокнот, махал в нем авторучкой. Каленов слез с нар и прошел к двери выбросить окурок.

— Ну, а рюкзак как? Месторождение? — подняв от блокнота голову, нетерпеливо спросил Куб.

— Рюкзак остался лежать под кроватью,— взбираясь на прежнее место, вздохнул Каленов.— До него ли было? Завертелись колеса — на фронт. А там в первый же месяц в окружение попал, в плен угодил! Гоняли нас из лагеря в лагерь до самого конца войны. Как и жив остался — не знаю... Приехал на родину, война всю родню повырубила. Завербовался на лесоповал. С год не проработал — сосной придавило. Позвоночник задело. Сколько по больницам вылежал — и не упомню.

А мысль о руде не давала покоя. Сам уж начал сомневаться, не приснилась ли? Столько лет прошло! В больницах только одной мечтой и держался: встать на ноги и сюда.

Встал. Пенсию по инвалидности дали. То ничего

брожу, то согнет пополам — не пошевельнуться, не распрямиться.

Думал-думал и все-таки надумал: поселюсь в Нежданном, сползаю на Шамансук, а там и умирать можно. Приехал в областной центр. Узнаю: прииск ликвидирован, домишки геологам переданы. Сходил по начальству, и сторожем определили в поселок.

Прибыл я сюда. Рыбки подвялил, сухарей наготовил и — на Шамансук. В прежние годы за день бы добежал, а тут три дня плелся. Нет, не приснилась руда. В натуре была. Образцов опять набил. На обратном пути — то ли срок подошел, то ли от груза — согнуло. Четыре дня пролежал под кедром. Не отпускает. Ну, думаю, сгину. Хоть на карачках, а надо выбираться. И правда, где на четвереньках, где прямо на брюхе, дополз до дома, забрался на нары, отлежался... Вот так и получилось с этим месторождением.

— Значит, его другие люди потом второй раз открыли? — недоверчиво спросил Куб.

— Нет, — покачал головой Каленов. — Я же и подсказал. Я с одним охотником из Уганска связан. Юшков Афанасий. Продукты мне завозит: сухари, махорку. С ним и отправил несколько образцов. Записочку написал. И стал ждать: через месяц-другой зашумит мой Шамансук. Проходит год. Тишина. Молчок. Сам боюсь в Уганск идти — как бы опять по дороге не скрутило. Вдругорядь посылаю образцы. И лишь в позапрошлом году, под осень уж, приехала ко мне женщина...

— Женщина? — испугался я, и мы переглянулись с Кубом. — А не помните, кто такая?

— Хорошо помню. Красовская ее фамилия. Она уже раз была на Шамансуке, но ничего, кроме гальки, не нашла. Насоветовал ей идти в сухой распадок под самой горой — там руда...

Каленов замолчал. Куб, отложив авторучку, пятерней ерошил волосы, вид у него был чрезвычайно расстроенный. Думали мы с ним, наверно, об одном и том же: как она могла, как духу хватило ограбить, забыть живого человека. Будто его никогда не было и нет. «Эх, Танька, Танька! — недоуменно вздыхал я про себя. — Эх, Танька, Танька!»

— Вы ей рассказывали про свою жизнь? — спросил я Каленова.

— Не помню. Может, и рассказывал. Целый день за столом просидели.

— Эта женщина сейчас заявляет, что одна, без всякой посторонней помощи, открыла Шамансук. Как вы на это смотрите?

— Ее дело, — спокойно ответил Каленов.

— Вот те на! — возмутился я. — Ваше открытие присваивает кто-то другой...

Каленов не дал мне договорить, с неожиданной для него горячностью оборвал:

— Да не другой, не другой. В том-то и дело! А народ, страна наша! Как вы все это понять не можете? Сбылась моя мечта: строится рудник. И мне больше ничего не надо. Судьбу свою благодарю: не напрасно век прожил!

— Кто все?

— Да тот же Крапивин... Уговаривал какое-то заявление против Красовской написать. А как я мог его написать, если для меня день, когда приходила Красовская, был, может, самым большим праздником в жизни? Наконец-то услышали мой голос! Не знал, куда и усадить-то, чем накормить. Все обсказал ей про Шамансук. А то, что сейчас не упоминает обо мне, так это с моего согласия. «Ваше имя будет известно, — говорила она. — Премию дадут». «Не надо мне, голубушка, никаких пре-

мий и известности тоже, только передай месторождение в руки людям». И передала! Дак как я теперь могу против нее идти?

— Хотите вы или не хотите, — с жаром сказал Куб, — но она должна была указать вас... Из одной только добросовестности ученого. А по-человечески — тем более.

Каленов пожал плечами: не знает-де таких «ученых» правил.

— Когда у вас Крапивин здесь побывал? — спросил я.

— С месяц назад.

«Это еще до встречи со мной, — прикинул я. — И тоже о Каленове ни словечка. Пьяный-пьяный, а не проболтался. Что творится на белом свете!.. Нашли двое чужой клад и, вместо того чтобы мирно поделить его, — передрались, перессорились. И добро бы не знали, не видели владельца клада. А то знали, видели, разговаривали, здоровались за руку. В конце концов сам он им указал и дорогу к своим сокровищам. Нет, ни Татьяна, ни Крапивин не выдержали испытание кладом».

Куб расспрашивал Каленова про житье-бытье.

— И не скучно вам здесь одному?

— Очень даже скучно. Уезжать вот собираюсь.

— Куда?

— Да на Шамансук — некуда больше. Пусть глаз порадуется деяниями людскими. Письмо вот в геологическое управление написал: на кого поселок оставить?

— Кому он нужен? Бросайте и уходите, — рассмеялся Куб.

— Непорядок. Честь по чести надо сдать добро. Случится что — красней.

«Вот он какой, Каленов! Подвижник!» — растроганно думал я.

Потом мы вышли с Кубом на крыльцо. Вечерело. Садилось солнце. На реку с противоположного берега, где стеной стоял хвойный лес, упала широкая тень, и река стала темно-зеленой, под цвет леса. Воздух звенел от комариного писка. В окошках изб красными язычками вспыхивали на солнце осколки стекол... Тишина, мир, чистота.

А там, в моем доме, в этот час, наверно, уже гремел победный банкет. Баженовы пришли. И теща с тестем. И Наташа. И Митя Колосок. И Эджин непременно пришел. И еще человек двадцать. Поздравления, тосты, музыка, вино рекой. Победа, победа, победа!— гудят, торжествуют ликующие голоса.

— Собирайся с мыслями, будешь писать статью, — сказал я Кубу.

— Слушаюсь, шеф, — серьезно, без улыбки ответил он.

На дворе появился Каленов. Снял со стены косу и, сказав, что пора готовить постели, прямо от крыльца пошел ей махать по высокой траве. Со спины он был все таким же низкорослым, худеньким, но уже не казался подростком. Мужчина. Мужчина, прошедший тяжелейшие испытания жизни и открывший для людей одно из земных сокровищ.

Хорошо запахло свежей кошениной.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ребят мы разыскали в той же самой избе, определенной под школу, в которую я их завез полторы недели назад. Время было рабочее — одиннадцать утра. Все пятеро — дома. Это нас с Кубом сразу насторожило. А зайдя внутрь, мы увидели такое, чего уж никак не ожидали.

Четверо — Володя Байков, Маша Кудрина, Вера Парфенова и Гриша Устюгов — сидели кружком на разбросанных по полу сине-белых полосатых спальниках, и перед ними на смятой газете стояли стаканы с буро-малиновой, похожей на марганцовку жидкостью. Там же, на газете,— алюминиевый чайник, буханка хлеба, колченогая палка сухой колбасы, но в глаза бросились прежде всего стаканы. Увидев нас, Байков заерзал по спальнику, стараясь спиной заслонить газету. Вера высокомерно сощурилась и пришикнула на него: сиди.

Еще раньше, с улицы, мы слышали доносившиеся из школы частушки. Оказалось — распевала Ирина. Она сидела отдельно от всех, на составленных в кучу партах, почти под самым потолком. Увидев нас, Ирина осеклась, смолкла, но уже через секунду, тряхнув с вызовом головой и подмигнув кому-то внизу, заголосила:

У миленка моего
Легкая походочка.
Он плывет, как пароход,
Я за ним — как лодочка.

Стаканы, растерзанная буханка хлеба — от нее не отрезали, а отламывали,— закопченный алюминиевый чайник с широким носком...

Бутылок не видать. Но чайник не мог ввести меня в заблуждение. Студентами мы тоже ради экономии ходили за вином с чайником: в магазине сольешь в него из бутылок, сдашь их обратно и на выручку еще прикупишь немножко...

Через широкие низкие окна в избу заглядывало солнце. Высвечивало на полу грязные отпечатки следов. Сушило на газете хлебные крошки. Испаряло из стаканов вино — стенки облипли бурым. Дикость! Несуразность! Что они хоть празднуют? Именины? Первую получку? И почему утром? Почему среди недели?

Ребята, повернув в нашу сторону бледно-раскрасневшиеся лица, смотрели исподлобья, отчужденно, тоже как бы вопрошали: скоро ли мы уберемся восвояси?

Наконец, Володя Байков нехотя встал и, заикаясь,— не от смущения и неловкости, а от того, что по-другому не умел, — произнес:

— Мы тут... Так сказать... Сами видите... Присаживайтесь.

— Видим, видим! — подхватил я и изобразил на лице подобие улыбки: уж больно мне хотелось вернуть к себе расположение ребятишек. — День рождения? И никак у Ирины? Не зря, верно, на самое видное место посажена?

— А вот и не угадали! — тряхнула косами Ирина.

— Получка?

— Не-ет, — интригующе протянула она.

— Лучше не гадайте,— вскинула глаза Вера.— От безделья пьем! Делать нечего!

— В толк не возьму, — развел я руками.

— Экий вы непонятливый! — усмехнулась Вера и неторопливо поднялась на ноги; в синем трикотажном костюме, гладко обтягивающем бедра и высокую грудь, стройная, ладная, она показалась мне совсем другой, чем та, какую я знал прежде, — взрослее что ли. Ну да, сейчас передо мной стоял взрослый человек, имеющий уже кое-какой самостоятельный опыт, не из книг почерпнутый. Я внимательно поглядел на остальных ребят, и в них заметно было повзросление — будто за полторы недели по годовому кольцу добавилось в каждом.

— Ну, давайте рассказывайте, — потребовал я, проходя на середину комнаты.

Байков пододвинул мне зачехленный спальник. Я сел на него.

Рядом пристроился Куб.

— Откровенно? — спросила Вера.

— Разумеется.

— Перед вашим приходом мы тут важный вопрос решали... Для храбрости и вина взяли... Бежать ли домой или еще пожить немножко?

— К какому выводу пришли? — строго спросил я, заподозрив моих ребят в трусости: испугались трудностей, к мамкиным юбкам потянуло, соскучились.

— И убежим, наверно! — Вера в отчаянии махнула рукой. — Просто это. На попутной — в Уганск, а там — на поезде. Обратно-то на самолете нас уж не повезут...

— Не повезут, — подтвердил я. — И что же вас удерживает? Почему еще здесь, а не голосуете на дороге?

— А вот почему! — Вера рванулась к составленным в кучу партам, выхватила из нижней толстую пачку конвертов и, возвратившись назад, потрясла ею перед моим лицом; из пачки выпала на спальник фотография молоденького солдата с ефрейторскими лычками, но Вера даже не взглянула на нее. — Вон сколько пишут! И все после ваших статей. Школьники, солдаты. Держитесь мол, после демобилизации целой ротой на помощь приедем. И школьники — туда же!

— Так это же очень здорово! — воскликнул Куб и попросил у Веры письма, увидев, наверно, в них материал для газеты.

Вера пожала плечами и передала ему пачку.

—...Спрашивают, как мы здесь живем, трудимся? А мы не живем и не трудимся. Существуем! Просто мы здесь никому не нужны!

Рядом с Верой встал Гриша, широколобый, нахмуренный, готовый тотчас прийти на помощь подруге... Спорхнула с парт Ирина — без нее-то уж никак не обойтись! Было ясно: о житье-бытье тут переговорено тысячу раз.

— Не нужны! — продолжала Вера. — Помните, что обещал Приходько? И тебе всякая работа, и тебе курсы коллекторов, и тебе курсы буровиков! Где они? А работу выпрашиваем, точно милостыню. Каждое утро при виде нас Приходько морщится, словно от зубной боли, — нечем занять. То пошлет мусор выметать из избы, то заколачивать ящики с кернами, то расколачивать те же ящики. Чтобы лишь отделаться. А сегодня мы вообще никуда не пошли, и ни одна душа не вспомнила про нас. И уедем — не спохватятся. Стыдно ведь так жить! Ой, если бы вы знали, как стыдно! — с горечью заключила Вера, и по ее щекам покатились слезы.

— А палатки где? — блестя черными цыганскими глазами, двинулась на меня Ирина. — Тоже обещали: в палатках будем жить!

Вера сквозь слезы улыбнулась и ласково перебила подругу:

— Перестань, Ирка. Что палатки! Пусть лучше научат, как на письма отвечать... А может, сами ответите? Вы это умеете — расписать... Эх вы, взрослые умные люди! Все время играете в какие-то непонятные игры и считаете — дело делаете. Бог с вами, играйте. Но нас-то зачем втягивать? Вот и месторождение, говорят, не Красовская открыла, а другой человек... А она выступает перед нами. И директор... — словно о чужом постороннем человеке, вспомнила о матери Вера, — и директор наставляет: берите с нее пример... Так ведь во всем разувериться можно.

Вера замолкла.

В затихшую избу через стекла, раскаленные добела солнцем, ворвались с улицы шумы: стрекот движка, карканье кедровки, беззлобная перебранка двух мужских голосов. Ворвалась жизнь, которой бы хотели жить мои ребятишки, но были от нее отчуждены, отодвинуты рав-

подушной рукой. Как не понять их беду? Их молодое горе? И от сознания того, что в этой беде повинен и я, а может быть, даже больше, чем кто-либо другой, мне стало нехорошо. И забылись вдруг собственные горести. Я сорвался со спальника и сказал Кубу:

— Пошли к начальнику экспедиции!

Белобрысый медвежьеватый Приходько, этот золотой парень, сидел в своем кабинете за маленьким однотумбовым письменным столом, сидел боком, ибо его длинные ноги в тяжелых сапогах не вмещались под столешницей с ящиком, и... или считал ворон или ковырял в носу, ничего не делал, словом. Узнав меня, он радостно заулыбылся. Его улыбка взбесила меня вконец. Я кричал, ругался, стучал кулаками по столу. Куб тоже стучал кулаками и ругался. Ошеломленный Приходько бормотал:

— Да что им надо? Крыша есть, ученические получают.

Потом, оскорбившись, сам взвился:

— А вы чем думали? Задним местом? Вы меня втянули в эту авантюру. Должны были бы соображать, какая у нас, геологов, работа. Или изволь кое-что знать или имей силенки ворочать на буровой обсадными трубами.

В конце концов Приходько, поуспокоившись, согласился: и он дал маху. Но зачем же орать, зачем оскорблять друг друга? Можно и мирно уладить дело. Вот сейчас вместе обсудим и решим, как быть. Значит, подавай парням работу. Любую. Самую тяжелую. Есть такая работа. Мальчиков можно пристроить на буровую, пусть помогают, присматриваются. Через полгода, глядишь, помощниками мастеров станут. С девочками посложнее. Но найдется и для них... В геофизический отряд — рейки таскать, замеры делать...

— Давно бы так, — сказал я устало.

Через час Приходько самолично развез ребят по новым работам.

Куб вспомнил: пора обедать. Отправился в ларек.

Я должен был что-то понять. Что-то очень важное для себя. Я стал перебирать в памяти свой разговор с Верой, от начала до конца, и в мозгу вспыхнули ее слова: взрослые умные люди... играете в непонятные игры... Да, да. Именно я играл с ними. Другого слова не подберешь. Играл безответственно. Ради чего я их агитировал в экспедицию? Заботился об их судьбе? Хотел помочь найти верную дорогу в жизни? Да ничего подобного. По сути думал лишь о самом себе. Дали задание организовать для газеты нечто интересное, и вот я организовал. Притащил Приходько. Составил и напечатал в газете письмо со многими подписями. И потом приходил в школу совсем не ради них, опять же ради себя: чтоб не раздумали, чтоб уехали, иначе оконфужусь. За организацию письма я получил благодарность от редактора и когда, наконец, спровадил ребят, помню, с облегчением вздохнул: игра закончена, можно приниматься за другую...

Оглушенный собственными разоблачениями, я ничком упал на траву и простонал от муки. Куда дальше идти? Как жить? Боль заключила меня, словно в темницу. И вдруг во мраке сверкнуло светлое пятнышко: совесть! Я сел и уперся руками в землю. Ну да, совесть! Есть же она у меня. И жить только по ней, не давать ей засыпать ни на секунду...

Я пришел в себя и увидел: сижу на берегу реки, увидел высвеченное солнцем золотистое дно, уроненную с берега на берег толстую березу, под которой недовольно ворчала вода, а дальше — бревенчатые избы, кедровый лес за ними, тяжелые гроздья шишек на куполообразных вершинах, и все это — и речка, и избы, и лес, и самое ле-

то — вошло в меня, и я неожиданно успокоился. Теперь я знал, что делать. Я насовсем приеду в этот поселок. Грузчиком, чернорабочим — кем угодно. Сегодня ребят пристроили — кого на буровую, кого в геофизический отряд, а что с ними будет завтра, послезавтра, через месяц, через год? Я теперь в ответе за их жизнь.

Журчала под березой вода, пахло смородиной, кедровыми шишками. Безмолвствовал, точно вымерший, поселок.

Я словно поднялся на высокую гору. С нее было далеко и широко видно. Я увидел свой дом, Татьяну, Маринку, и во мне затеплилась надежда — еще не все потеряно! Если я могу обновить свою душу, то и Татьяна может, только надо хорошо, толково с ней поговорить: «Танька, Танька, нельзя так жить... Своекорыстно, эгоистично. Посмотри, сколькими нитями мы связаны с другими людьми. Порвется самая коротенькая ниточка, и люди уже страдают, мучаются». Поймет, поймет она! Надо ей только помочь...

И я стал лихорадочно прикидывать, застану ли Татьяну еще дома. Я обещал вернуться в субботу, значит, переезжать она собирается в четверг или в пятницу. Скорее всего в пятницу. И если я попаду в город в четверг, то наверняка застану ее. А сегодня среда...

С буханкой хлеба под мышкой и банками консервов в обеих руках спустился на берег Куб. Расстелив на траве кверху подкладкой кожан, он сложил на него продукты.

Мы собирались прожить на Шамансуке дня три — сходить на буровые, потолковать с людьми, словом, как следует поработать.

Куб уже стоял на коленях и, прижав к груди буханку, отваливал ломти, когда я сказал:

— Саня, мне надо домой.

Ножик выпал из его рук.

— А как же очерк?

— Ты можешь остаться. Поеду один.

Куб снял очки, сосредоточенно протер их полой рубашки, снова надел и долго смотрел на меня. За дорогу я ни словечком не обмолвился о своих семейных делах, но сейчас мне показалось: он догадывается обо всем.

— Черт с тобой! Поехали вместе.

— Спасибо, — благодарно пробормотал я: без Куба было бы совсем плохо.

Куб сидел в кабине, а я, мотаясь на ухабах из стороны в сторону, стоял во весь рост в кузове. На приличных участках машина бежала сносно, а там, где дорога была разрыта или завалена кучами нерастасканного щебня, тащилась не быстрее утицы.

В зависимости от скорости менялось и мое настроение. Когда машина разгонялась, я верил: застану Татьяну дома, и мы с ней еще уладим нашу жизнь; в эти минуты я весело смотрел по сторонам, вдыхал запахи цветов, деревьев и думал о Татьяне только хорошее; но стоило машине натолкнуться на очередное препятствие, как я тотчас слеп, глох, терял обоняние, падал духом — не застану; и в памяти всплывало все плохое, что я знал о жене... Вспоминал загнанную в каморку бабушку, которую за десятку два раза в неделю обихоживал чужой посторонний человек... И думал: жестокость, неправедность в Татьяне — отсюда, от каморки. Нельзя безнаказанно для самого себя унижать достоинство другого человека. Или хотя бы быть безучастным свидетелем унижения.

На крутом подъеме, попав задними колесами в мокрую ухабину, машина забуксовала. Этого еще не хватало! Я спрыгнул на дорогу и уперся плечом в борт. В лицо ле-

тели шмотья грязи. Я оттирал глаза, отплевывался, молил про себя: милая, поднатужься, вытяни...

По-вечернему закраснело солнце. На самолет мы, наверно, опаздывали. Пожалуй, можно было не надсажаться, но я не вылезал из грязи, не отнимал сбитого в кровь плеча от борта.

На вершине горы показался самосвал. Снизу он походил на выбежавшего из тайги лося. Я отчаянно замахал руками, хотя самосвал и без того спускался к нам.

Я закрепил буксир, и самосвал, включив все свои лосиные силы, вытащил нашу машину на сухое место.

— Гони, — сказал я шоферу, когда тот посоветовал мне умыться.— Грязь — не сало, высохла и отстала.

На самолет мы опоздали. Надо было пытать счастье на железной дороге. По пути на вокзал, возле кирпичного здания рудоуправления, мы столкнулись с Крапивиным. Вот кого бы совсем не хотелось видеть! Но деться было некуда. Он уже стоял передо мной и, сузив темные глаза, говорил раздраженно:

— Ловко, товарищ Козлов, вы провели меня.

— Э, бросьте! — махнул я рукой.

— Я вас назвал Козловым, — не слушая, продолжал Крапивин, и голос его наливался благородным негодованием. — Может, ошибся? Может, Красовский?

— Крапивин! — сказал я Кубу.

— Красовская-то ваша жена. Почему же вы умолчали? Чтобы документики присвоить? Где они?

— А вы умолчали о Каленове...

— Какой Каленов? — Крапивин резко дернул головой: даже шляпа сбилась на затылок, обнажив желтоватые блестящие залысины.

— Будто не знаете, — усмехнулся я.

Но Крапивин уже оправился от удара и, укоризненно улыбаясь, покачал головой:

— Ай-ай-ай. Это я не вам, себе. И как мог выпустить его из памяти? В тот вечер можно было и не такое забыть...

Крапивин повернулся к Кубу и интимно-доверчивым голосом сообщил:

— Выпили мы тогда с ним, будь здоров: коньяк, водка, вино. Виктор даже того... Мать родную забудешь.

— Бывает, — сухо сказал Куб.— Но об этом не треплются.

— Ну, ну, к слову пришлось... И где же вы Каленова встретили? — спросил Крапивин, отводя взгляд в сторону и о чем-то соображая. — Насколько я понимаю, вы не имеете права писать об открытии.

— А я и не собираюсь.

— Я напишу, — сказал Куб.

— О! Очень рад! Очень рад! Давайте познакомимся, — воскликнул Крапивин и протянул Кубу обе руки, но тот сделал вид, что не заметил их.

— Впрочем, какое наскоро знакомство! — безо всякой обиды опустил руки Крапивин. — Зайдемте ко мне. Тут рядышком. Виктор знает.

— Чтобы вы потом небылицы про нас рассказывали? — ухмыльнулся Куб.

— Вы не поняли...

— Нет, поняли, — твердо сказал Куб. — Да и некогда нам.. Прощевайте.

— Одну минуточку... Все ли вам известно про Каленова? Про плен, например? Политично ли связывать открытие такого крупного месторождения с его именем? Да вам и не позволят это сделать!

— Вон ты какой, Крапивин! — Куб брезгливо сплюнул на дорогу и дернул меня за рукав. — Пошли.

Вдогонку долетело:

— Молокососы! Еще посмотрим — кто кого!

На путях одиноко стоял товарняк, в голове его нетерпеливо попыхивал старенький паровоз с прицепным тендером. В Уганске — тупик. Поезда отсюда могли идти лишь в сторону города. Мы с Кубом нацелились на последний вагон.

Из стандартного станционного здания, помахивая железным тормозком, вышел машинист. Мы следили: вот он подошел к паровозу, закинул в кабину тормозок, ухватился руками за матово блестевшие поручни, подтянулся... Теперь пора и нам.

Мы устроились на платформе с низкими бортами из гофрированного железа. Поезд лязгнул суставами и тронулся.

Солнце совсем стало красным. В сырых ложках жидкими молочными прядками поднималась испарина. Стегало вечерним холодом. Куб, надвинув на глаза шляпу и закутавшись с руками в кожан, полулежал в углу, а я не находил себе места и носился взад-вперед по платформе. Лязг, грохот, встречный холодный воздух, обнадеживали, но, увы, к поезду была прицеплена вагон-лавка, и он останавливался на каждом полустанке; к лавке бежали женщины, старики, дети, и ражий краснощекий продавец, раздвинув дверь, выставлял на показ свои товары: хлеб, сахар, соль, мыло, отрезы, ковры, кровати. Ей-бо, если бы лавка находилась не в середине состава, а в конце, я бы на ходу отцепил ее!

Товарняк прочно застрял на узловой станции. А до города уже рукой подать — не больше сотни километров. Совсем стемнело. Мы потащились на шоссейку, к чайной, возле которой обычно останавливались транзитные ма-

шины. Окна чайной ярко освещены. У крыльца стоял большой самосвал.

Мы прошли в прокуренный зал и за одним из столиков без труда разыскали шофера. Все они своими замасленными кепками, черными руками и еще чем-то неуловимым походят друг на друга.

— Куда? — спросил я.

— В город.

— Подвезешь?

— Можно.

Промелькнули огни поселка, и машину с боков обступила темень: фары прощупывали дорогу, их свет походил на белую пыль, вихрившуюся в воздухе. Шофер осторожничал. Далеко впереди раз-другой мелькнул красный огонь.

— Машина? — спросил я.

— Ага, — кивнул шофер.

— Так в хвосте и плестись будем? Пыль глотать?

Шофер самолюбиво поджал припухлую губу, придвинулся грудью к рулю, и стрелка спидометра стремительно полетела вправо. Красный огонек стал быстро приближаться, обрисовались контуры хлебного фургона, а еще через минуту фургон остался позади, но впереди снова замаячил красный огонек... В круглых глазах шофера вспыхнули азартные искорки. Куб вцепился руками в сиденье и, повернув ко мне перепуганное лицо, кричал:

— Если тебе жить не хочется, погибай в одиночку! А мы-то при чем?

— Не трусь,— кричал я в ответ.— Живы будем, не умрем!

Потом нас со страшной силой тряхнуло, я головой чуть не пробил верх кабины, а шофер выпустил из рук руль, и машину в тот же миг круто завернуло в сторону.

Я ощутил, как на одних левых колесах машина проскочила через кювет; близко перед нами в свете фар мелькнул белый верстовой столб, раздался треск...

Шофер долго ползал вокруг машины, выискивая пролом или вмятину, но, как ни странно, ничего не нашел: однако азарт с него сняло, и дальше мы тащились со скоростью подводы; нас обогнал и хлебный фургон, и другая машина, и еще несколько, вышедших из поселка позже нас, и в город мы приехали на рассвете.

...Позвонив, я с минуту ждал. Ни звука. Тогда я стал колотить кулаками по двери, гром летел по всем этажам. Открылась противоположная дверь, выглянула заспанная соседка, и молча протянула ключ.

Я ходил по квартире и не узнавал ее. Коричневые столы стояли голыми и напоминали гробы. Маринкина кроватка зияла обнаженной деревянной рамой, связанной на изломе тесемкой. Пустовали вешалки. Не было чемоданов. Осиротел Маринкин уголок в спальной, где обычно кучами громоздились ее игрушки. Ни одной не осталось. Хоть бы одну, хоть бы какую-нибудь поломанную забыли!

Окурки, спички, коробки из-под сигарет, апельсиновые корки; полы исцарапаны каблуками — хорошо погуляли на банкете!

В кухне полбутылки водки и рюмка. Пей, гуляй и ты! Заливай свою беду!

Блуждая по квартире, я будто искал чего-то. Потом понял: хочу найти какую-нибудь вещь, принадлежащую дочери. Наконец, вытащил из-под дивана резинового, некогда раскрашенного, а теперь вконец вылинявшего козлика. Я слегка сжал игрушку, и она пискнула. И я вспомнил свой разговор с дочерью: «Я не бедная».— «А кто же бедный?» — «Козлик».— «Почему?» — «Остались рожки да ножки». — «Ну, и правильно. Мы не бедные,

ибо у нас все целехонькое, все на месте — и голова, и руки, и ноги»...

Спасибо, доченька, спасибо за урок, он мне теперь, ох, как, пригодится!

То ли оттого, что я уже был внутренне подготовлен к случившемуся, то ли оттого, что здорово устал — не шутка проделать такой путь, — настоящего отчаяния я не испытывал. Только было непривычно — вот вернулся из командировки, а в квартире не прибрано и никто не встречает.

Несколько часов назад Татьяна, возможно, так же бродила по опустошенной квартире и думала: нелепо перечеркнут целый кусок жизни.

Она попыталась вызвать в себе недавнюю ненависть ко мне, но ненависть не приходила, в голову лезло другое — и первая наша встреча, и комсомольская свадьба, и воскресные пирожки...

Все это чепуха! — отмахивалась она от воспоминаний. Девчоночья блажь! Тогда каждый человек, причастный к литературному миру, казался ей героем. Всех поэтов представляла похожими на Ленского: и кудри черные до плеч. Богатые, обаятельные. Теперь-то знает: жалкие, неопрятные люди вроде Куба. Даже Ремарк, фотографию которого она недавно видела в «Иностранной литературе», и тот лишен всяких демонических черт, какими она его наделяла, читая романы, — по-бюргерски кругл и лысоват... Вот так и надо жить — трезво, без иллюзий, чтобы уже никогда больше не ошибаться. Со мной она разобралась: внешние признаки характера и мужественности обманчивы, ибо она сильнее. Теперь нужно поставить точки над «и» в отношениях с Баженовым; замуж за него, разумеется, не пойдет — стар, да и слишком много шума вызвал бы этот брак, и поэтому

она должна решительно пресечь его домогательства; кроме того, его внимание может отпугивать ее будущих поклонников, а век жить одной она не собирается.

Никаких иллюзий, трезвость — отныне это будет ее девизом, и с ним она не потерпит в жизни ни одного поражения.

Квартиру заполняли сумерки. Не зажигая света, Татьяна, возможно, подошла к зеркалу и взглянула на себя. Темно-синий костюм с узким вырезом на груди сидел на ней так же ладно, как и на банкете: там ни один не удержался, чтобы не сделать ей комплимент. Лицо в сумерках — утонченно-бледное. «Не пропаду», — решила Татьяна и пошла к выходу.

Она закрыла дверь, постучала к соседке и передала ключ, сказав, что уезжает.

Отчаяния не было. Оно придет позднее. И тогда, чтобы уснуть, я буду пробегать двадцать-тридцать километров в вечер. А сейчас хотелось спать и без того. Спать, спать!

Но длинный-предлинный день для меня еще не кончился. Ворвался Куб. В подтяжках, расхристанный, с шальными глазами. По его виду можно было подумать: не чаял уже в живых меня застать.

— Валя велела на рыбный пирог тащить. Специально для нас стряпала. Пошли.

— Спать охота.

— Успеешь выспаться. Мне без тебя не велено возвращаться... Сталинка там.

— Что ей надо?

— Она твой друг.

— Они знают?..

— Как тебе сказать...

— Если у вас достанет ума не жалеть меня, то, пожалуй, пойду.

— Не беспокойся.

Я прошел в ванную умыться. Куб встал в дверях.

— По дороге стихотворение сочинил, — сказал он. — Хочешь прочитаю?

— Ну, прочитай.

Герой стихотворения был слишком знакомый — он сначала летел на машине, потом на железнодорожной платформе, потом опять на машине, и в лицо его стегал невесть откуда взявшийся песок, над головой вопил и стенал, словно хор девушек, печальный ветер, а впереди во мраке сияли «предательски любимые глаза».

Слушая, я почему-то вспомнил творческую историю другого стихотворения Куба. Однажды мы были с ним на семинаре в Красноярске. По окончании семинара друзья-коллеги потащили нас на Столбы встречать восход солнца. На скалы забирались ночью — по каким-то щелям, по узеньким, не шире ладони, карнизам; внизу разверзлась черная пучина. Куба из-за его неповоротливости сразу же пришлось обвязать кушаком, концы которого взяли в руки самые бывалые столбисты; «поднимают, как бочкотару»,— успел пошутить он, и в тот же миг сорвался с карниза и повис на кушаке над пропастью; его вытащили, а дальше была небольшая площадка, и он лег на нее, обхватил во весь размах руками, словно боялся — сдует, и несколько раз повторил: нет, нет и нет, а когда мы стали уговаривать его идти выше, он и слушать не хотел. На вершину скалы мы забрались без Куба. Далеко внизу рассыпались огни города — колебались, мерцали, подмигивали; вдруг из этой россыпи огней выпорхнули две искорки — красная и зеленая и полетели прямо на нас, потом в небе мы услышали гул мотора и догадались — самолет. А на востоке засветлело.

Проступили облака, бесцветные, пепелистые, но уже через минуту они стали синими, потом нежно-зелеными, зелеными, розовыми и, наконец, вспыхнули алым пламенем. Из-за горизонта появился краешек солнца; он рос, рос, и вот уже солнце во весь свой лик озарило нашу вершину; а внизу был еще ночной мрак, но через некоторое время и там он стал шаг за шагом отступать: прижимался к земле, прятался меж деревьев, кустов; на наших глазах происходила извечная борьба света и тьмы. Исход борьбы был предрешен, но зрелище все равно захватывало... Потом мы спустили Куба. Почувствовав под ногами мягкую, в сосновых иголках, землю, он снова повеселел и попросил меня послушать стихотворение, придуманное там, на камне... «Он не дошел и лег на камень...», предался горестным размышлениям: до вершины несколько шагов, а «он» струсил, а вершина небольшая, впереди в жизни будут куда значительнее, круче, неужели «он» и перед ними вот так же спасует... И «он» встает и единым духом одолевает последние метры...

Я ничего не сказал тогда Кубу, про себя подумал: подымись он в самом деле на вершину, наверняка написал бы что-нибудь стоящее.

И в новом стихотворении тоже было все здорово: «предательски любимые глаза», потрясенные преданностью героя, вдруг стали верными и нежными.

— Ну как? — спросил Куб, дочитав до конца.

— Опять одним духом взбежал на вершину.

— Да, да,— сконфуженно пробормотал Куб.

Он вытащил из кармана листок и принялся рвать его на мелкие кусочки.

Куб кромсал бумагу, а я думал: вот и закончилась какая-то полоса моей жизни. Теперь начинается новая. И в ней, наверно, будет еще труднее, ибо отныне я должен мерить себя другими мерками.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Конечно, я не ждал Людмилиного письма, но когда оно пришло и я прочитал его, понял — все-таки ждал.

«Виктор Степанович!

Умер наш папа.

Две недели я ничего не видела вокруг себя — ни людей, которые беспрерывно толклись в нашем доме, ни вещей, ни солнца. Сегодня будто впервые открыла глаза после долгой болезни и ничего не узнаю — или мир так переменился за это время, или я сама.

Высокие тополя против наших окон уже облетели, сквозят. На железных крышах, в желобах, лежат ворохи красных листьев. Осень. А папу мы похоронили почти летом. Был душный день. Шло много народу — все улица запружена: преподаватели, студенты, геологи. Приехали даже из других городов. Ах, какая духота стояла. Папа лежал худой, с острыми скулами. На лбу, в морщинках, блестели капельки пота. Я перепугалась, только потом поняла: это не пот, а наши слезы — мои, мамины, Руфкины и Светкины.

Зачем я вам пишу?

Мне кажется: вы плохо думаете о папе. Я не хочу, чтобы вы о нем плохо думали. Папа хороший.

Вы знаете, что мы с Руфиной ему не родные, одна Светка — родная. Но другого отца и не надо.

Он был всегда сдержан с нами. Он как бы стеснялся набиваться нам в отцы. Но я-то знала: отправили меня в туристическую поездку по Карпатам — он придумал, а мама лишь мне передала; купили Руфке кинокамеру — его подарок, а мама только сходила в магазин. Все эти игрушки, тряпки, фрукты, сласти в наши именины и будние дни — его, его, потому что, когда он ненадолго уезжал в командировку, мы ровным счетом ничего не виде-

ли, поесть порой даже нечего было. Мама-то, знаете, какая у нас беззаботная!

Ох, как-то теперь жить будем! Прошло две недели, всего две недели, а уже чувствуется: дом приходит в упадок. Нет, еще ничего не продали, не растеряли, но вот уже Светка вытащила с полки пятитомник Есенина: идет на день рождения к подруге, а подарок не на что купить. И так потихоньку все потечет меж пальцев. Скоро комнату будем сдавать внаем. Я, конечно, шучу, но уже приходил один человек, великовозрастный модник, в короткополом пальто, с тросточкой, представился артистом театра музкомедии. Ему мол, сказали: большая квартира, очень удобная, с газом, телефоном и т. д. Мама с такой яростью набросилась на артиста, что мы с сестричками перепугались, как бы не ударила его. «Вон, вон!» — почти в истерике кричала она, а когда артист убежал, разревелась: «В другой раз кто придет, надо будет пускать; никуда не денешься».

Вот за эту сдержанность и даже застенчивость я и любила отца. И еще за то, что он знал все на свете. Я уже не говорю там о камнях разных, но и в лес с ним придешь — всякую птичку, которая выпорхнет из-под ног, назовет: славка, зяблик, пеночка; всякий цветок укажет: саранка, марьин корень, курослеп, незабудки, ирисы, кукушкины слезы — да мало ли их я от него знаю!

Помню, над моей головой сорвалась с куста кукушка. Я обругала ее: «Фу, противная!» — «За что ты ее так?» — спросил отец. «А за то, что мать плохая, подбрасывает свои яички в чужие гнезда, ленится сама высиживать».— «Не плохая она мать и не ленится, и то, что кладет яйца в чужие гнезда, не вина ее, а беда. У кукушки против других птиц растянут период кладки, и если бы она даже вздумала сама высиживать птенцов, у нее ничего бы не получилось: всех бы погубила»,— отец говорил с пе-

чальной, все понимающей улыбкой, и мне показалось, что он в ту минуту думал о своей судьбе, сравнивал себя с кукушкой. Но у него-то все было наоборот: не он подбрасывал в гнезда своих птенцов, а сам всю жизнь растил чужих!

Передо мной сейчас стоят в потрескавшейся деревянной вазе три палочки рогоза с коричневыми продолговатыми шишечками-пыжами на концах. И хорошо, что в вазе нельзя держать воды: шишечки бы распушились, облезли белым, а так стоят темные, меховые, нежные, точно такие же, какими мы с отцом срезали их два месяца назад на болоте. Только стебли высохли, пожелтели, сплющились, свились, точно проволока,— ну да не на стебли любоваться... Всю жизнь, сколько помню, этот рогоз был для меня камышом. Камыш да и только. Иного камыша и не представляла. Отец объяснил: камыш — совершенно другое: и цветет метелкой, и стебель дудчатый, и листья жесткие, шумят,— «шумел камыш»...

Многое я вам уже написала, а все никак не могу решиться приступить к главному.

За два дня до смерти отец сказал — он уже совсем почти не мог разговаривать, а тут с трудом выдавил из себя: «Виноват перед Виктором...».

Сейчас я убеждена, что вы и раньше знали о характере отношений отца с Татьяной Сергеевной. А мы ни о чем не догадывались — ни я, ни сестры; у мамы были подозрения, но очень робкие.

Мы все любили Татьяну Сергеевну, были ослеплены ее красотой, женственностью, умом и, господи,— как всегда радовались ее приходу! Светка отшвыривала учебники и бросалась ей на шею. Мы с мамой принимались накрывать на стол. А когда садились обедать, выходил из кабинета отец, и тут уже совсем начинался праздник. Обычно малоразговорчивый, отец в присут-

ствии Татьяны Сергеевны расходился: рассказывал о своей молодости, путешествиях, шутил и это всегда было так интересно, что мы боялись слово пропустить.

В последний раз Татьяна Сергеевна пришла увезти маму и папу на свой банкет, устроенный в честь защиты диссертации.

Мама возилась в ванной с волосами, а отец, уже побритый, причесанный, в белой отглаженной сорочке, пришел в гостиную и попросил Татьяну Сергеевну застегнуть ему запонки.

Татьяна Сергеевна склонилась над изуродованными руками, и я видела, как у него молодо и влюбленно засветились глаза, на острых скулах вспыхнул румянец, в один миг он весь преобразился и, высокий, худощавый, сухой, как мореное дерево, показался мне не менее красивым, чем склонившаяся над его руками молодая нежная женщина; даже изуродованные руки показались мне прекрасными.

Я с наивным восторгом подумала: шли бы они на банкет одни, а маму оставили дома — как бы это здорово было со стороны!

Боже мой! До чего мы были слепые! Ну, я, Руфина, Светка — понятно, неискушенные девчонки. А мама? Уже целый год с отцом жили врозь: отец в кабинете, а мама — в столовой. Постель стелила на узенькой неудобной кушетке. Каждый вечер, когда она укладывалась спать, я видела в ее глазах обиду и тоску. С этим же выражением в глазах она заговаривала несколько раз с Татьяной Сергеевной: «Танечка, вы в институте целыми днями вместе с Глебом Кузьмичем. Скажите, ничего такого не замечали? Нет там подле него какой-нибудь вертихвостки? Я думаю, все это неспроста».

«Да что вы,— весело успокаивала Татьяна Сергеевна.— Глеб Кузьмич ушел в науку. Он сейчас создает

самый главный труд своей жизни. Все мысли у него только в нем. Может, от этого и недостаточно внимателен к вам».

«Ой, что-то не то, не то»,— с сомнением качала головой мама.

Вы уже уехали работать в экспедицию, когда в газете появилась ваша статья, вернее, не ваша, а Мутовкина, за его подписью, но все почему-то решили, что статью написали именно вы,— и отец, и мама, и я, и сестренки. О, сколько разговоров в те дни о вас было в нашем доме.

Отец категорически заявил:

«Ничтожество! Ушла жена, и он теперь мстит из-за угла. На такое способны самые мелкие, самые завистливые душонки. Своей завистью он погубил бы ее талант».

Признаюсь, я думала о вас теми же словами: ничтожество, завистник. Простите, Виктор Степанович! Теперь-то я знаю: вы — другой, совсем-совсем другой, и догадываюсь, как вам в последнее время тяжело было в нашем городе, ведь вы, наверно, единственный человек, который знал о несчастной любви моего отца и о том, как делалась диссертация, а вы, бывая у нас, даже виду не показывали, что все знаете.

Простите меня! Сейчас, может, вы единственный на свете, к кому я могу относиться с полным доверием. Вы да еще ваш друг Саша Мутовкин.

Кстати, вчера, увидев меня с противоположной стороны улицы, он прямо перед носом машины перебежал дорогу, схватил за руку и, улыбаясь во весь рот, долго тряс ее, будто мы бог весть какие друзья и целых сто лет не виделись. Такой смешной, маленький, квадратный, действительно Куб, уцепился обеими руками за мою дохлую ручонку и чуть не вырвал ее из сустава.

Потом, уже забыв о встрече, я впервые после смерти отца почувствовала: у меня что-то отогрелось, оттаяло в груди, словно солнечный лучик проник туда, я спрашивала себя, откуда бы это, и вспоминала вашего милого Мутовкина.

Статья вызвала переполох не только в нашем доме, но и в институте. Спорили, шумели. Готовилось открытое партийное собрание. Поговаривали: собрание может принять решение считать недействительным защиту диссертации и отозвать ее из Москвы.

Но ни собрания, ни другого какого обсуждения статьи не было: помешал отец. Он сходил к ректору, съездил в геологическое управление, в обком партии, звонил в Москву. О чем уж он везде беседовал — не знаю. Только все двусмысленные разговоры прекратились, а вскоре из Москвы, из высшей аттестационной комиссии пришла телеграмма: Красовская поздравлялась с утверждением диссертации и присвоением звания кандидата геолого-минералогических наук. А несколько позже в газете напечатали информацию о том, что Красовская, Крапивин, Каленов и еще человек семь, совершенно мне неизвестных, за открытие Шамансукского месторождения выдвинуты на соискание Государственной премии.

Городские власти настаивали, чтобы в число соискателей включили отца и начальника геологического управления Русанова, но оба наотрез отказались, заявили: если даже включат помимо их воли, то они откажутся вторично, да еще через центральную печать, и их оставили в покое — побоялись нового скандала.

Словом, вся эта история кончилась для Красовской не только совершенно безболезненно, но и прибавила ей известности.

А для нас...

Но не стану забегать вперед, расскажу по порядку.

Вы ведь, наверно, знаете, какой у нас телефон: если даже кто звонит из-за тридевяти земель, голос гремит как по селектору — во всех комнатах слышно.

На тот звонок мы с мамой побежали к телефону одновременно, но мама успела первой схватить трубку.

«Да?» — спросила она.

«Алевтина Васильевна, здравствуйте»,— узнала я голос Красовской.

«Ах, Танюша, миленькая, здравствуй,— заторопилась мама.— Давненько ты у нас не показывалась. Или, став ученым, носик вскинула немножко?»

Красовская пыталась что-то ответить, но мама своей скороговоркой перебила ее:

«Я шучу, разумеется. Догадываюсь, каково тебе было. Бедненькая! Из-за этой статьи все завистники подняли головы... Сейчас тебе, Танюша, надо отдохнуть. Собирай-ка чемоданы и — на юг, к морю. Враз все плохое вылетит из головы».

«Я и сама подумываю об отдыхе».

«Вот-вот, видишь, какие мы родственные души! На расстоянии чувствуем друг друга».

«Но отдыхать я собираюсь иначе, чем вы советуете. И мне нужна ваша помощь... Алевтина Васильевна, выслушайте внимательно... Передайте, пожалуйста, Глебу Кузьмичу, чтобы он перестал преследовать меня. Приберите, наконец, к рукам своего мужа. Тогда я смогу отдохнуть и в городе. И вам лучше будет».

Это было как удар молнии с ясного неба. Мама перестала соображать.

«Танюша, Танюша,— лепетала она в ужасе.— Что вы такое говорите? Как он вас преследует?».

«Ну, Алевтина Васильевна,— в голосе звучала презрительная усмешка.— Вы не девочка, давно бы могли заметить... С год уже настаивает, чтобы я вышла за него

замуж. Смешно слушать: мне двадцать семь, ему — за пятьдесят».

После этих слов мама пришла в себя.

«Татьяна Сергеевна,— выкрикнула она,— как вам не стыдно!»

«Я должна подумать о себе и дочери»,— ответила Красовская, и сразу же на весь дом забили отбойные гудки.

Не знаю, как вам и передать те чувства, которые охватили меня после всего того, что я услышала. Это был ужас! Ужас перед человеческой низостью. На отца я не обижалась. Мне казалось вполне естественным, что он полюбил Красовскую. Но как она смела предать его? Растоптать! Да еще такими пошлыми словами! По телефону!

Мама тоже негодовала больше на Красовскую, чем на отца.

«Ах, тварь какая! Ах, змея подколодная! — твердила она, выйдя из роли профессорши и став снова той острой языкой машинисткой, какой, наверно, была до встречи с отцом.— И прежде закрадывались подозрения, но разве я могла им дать волю... Думала: если бы что было между ними, носа бы не посмела показать к нам. А она все время ходила. С дочерью. Для отвода глаз. Нашла дурачков! А Глеб-то, Глеб-то — тоже хорош! Диссертацию ей сделал, отстоял перед газетой, защиту ускорил. А когда не стал нужен — она его фьюить, коленком».

Мама совсем разошлась. Глаза разъяренно горели. Сначала бегала по столовой, потом ворвалась в кабинет отца и принялась перетряхивать на письменном столе книги, бумаги, карты, чертежи.

«Ишь, женишок! Отгородился. Главный труд жизни! А сам тут млел, как мальчишка! И поделом тебе! Поделом! Вот придешь, я еще добавлю!»

Прибежали с улицы Руфка и Светка. Я пыталась заставить маму замолчать, но куда там — с еще большим пылом она принялась пересказывать им свой разговор с Красовской. Девчонки хлопали глазами и ничего не понимали. А Светка передернула плечами и сказала:

«Ну и что? Я люблю Татьяну Сергеевну. И хорошо бы жить вместе».

Ах, глупая-глупая Светка.

Я все-таки утащила маму в кухню и с трудом растолковала ей, что девчонкам совсем не полагается знать о взаимоотношениях взрослых. Я предложила даже ничего не говорить отцу. «Ну уж нет!» — отрезала мама.

Стукнула входная дверь. Мама вылетела в прихожую. Я метнулась следом. Выбежали из своей комнаты девчонки.

Отец снимал пальто, одну руку уже вытащил из рукава, но, увидев всех нас вместе, а маму еще с мстительной ухмылкой на губах, с воинственно воткнутыми в бока руками, приостановился и удивленно спросил:

«Что тут произошло?»

Я крикнула: «Мама!» Но она даже не взглянула на меня.

«Вот то и произошло. Звонила Красовская и просила передать: ты старая развалина, песок сыплется и совершенно ей не нужен».

Отец побледнел. Белым-белым стал. Пальто сползло с плеча на пол.

«Чепуху мелешь»,— раздельно и тихо сказал он.

Мама не унималась:

«Так и попросила: прибери мужа к рукам».

Отец шагнул к маме, и я заметила: у него тряслись губы, и в уголках на них выступила пена.

«Это что, шантаж? Да? — закричал он каким-то не своим визгливым голосом.— Шантаж! Шантаж!»

«Глеб! Глеб! Успокойся! — испуганно попятилась мама.— Все правда. Час назад звонила. Передайте Глебу Кузьмичу, чтобы больше не преследовал... Так и сказала. Я ни словечка не присочинила».

Отец прикрыл ладонью глаза и простоял так с минуту. Потом рука упала, хлестнула по бедру. С застывшим взглядом он прошел мимо нас в столовую, где возле маминой кушетки на журнальном столике стоял телефон, и снял трубку.

Мы затаились. Вертушка кружилась с оглушительными щелчками.

«Попросите, пожалуйста, Татьяну Сергеевну»,— очень спокойно произнес отец: он звонил, наверное, родителям Красовской.

«Знаете, я пожилой человек, и не надо меня обманывать,— тем же мертвенно-спокойным голосом продолжал отец.— Она дома. Недалеко от телефона. Пусть подойдет. Если не захочет, приведите ее силой. Иначе я вынужден буду приехать к вам сам».

И снова квартиру заполнила тишина.

«Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Будьте любезны, повторите, что вы сегодня сказали моей жене... Ну, ну, не бойтесь. Вы же храбрая женщина. Так... Так... Так... А почему же все это вы не сказали мне в глаза? Ага, значит, боялись. Но боязнь вам совсем не к лицу. Оставайтесь всегда храброй и вы далеко пойдете. Благодарю».

Отец медленно положил трубку — точно не хотел с ней расставаться, и, глядя поверх наших голов, прошел в кабинет. Тихо-тихо притворил за собой дверь. Потом слышно было, как скрипнули диванные пружины — и все замолкло.

Ночь наступила. А из кабинета — ни звука. Мама на цыпочках подбиралась к двери, прислушивалась и, тя-

жело вздохнув, возвращалась обратно на кушетку.

Я тоже не могла заснуть. Ворочалась с боку на бок, представляла, как он там лежит на голом диване с открытыми глазами, в костюме, ботинках, туго затянутом галстуке, и мне было жалко его. Жалко-жалко. За все. И за трудную жизнь, и за неудачную любовь, и за нас с Руфкой, за то, что мы ему чужие.

Уж лучше бы он бросил нас, ушел, лишь бы не лежал там один на холодном голом диване.

Я припомнила всю его жизнь: сиротское детство, шахта, рабфак, институт, скитание по стране, женитьба на маме; вспомнила все это, а потом Красовскую, запонки, другие подробности, которым раньше не придавала значения, и поняла: Красовская — последняя любовь отца. Мне стало страшно. Я соскочила с кровати и в одной рубашке, без стука вбежала в его кабинет.

Он лежал на диване в костюме, ботинках, но галстук был растянут и сбит набок. Рука через распахнутый ворот рубашки шарила по груди. Глаза с белого осунувшегося лица смотрели обреченно.

Я упала перед ним на колени и вскрикнула:

— Папа!

Он разлепил пересохшие губы, сказал:

— Позови маму.

Я сбегала за мамой.

— Плохо,— сказал отец.— Врача.

Минут через двадцать приехала скорая помощь. Отца положили на носилки и унесли.

А через семь дней его не стало.

За два дня перед смертью он сказал: «Виноват перед Виктором».

Вот я исполнила волю отца.

Отец лежал в гробу. Мы вчетвером сидели по бокам у его изголовья. Я заметила: время от времени то мама,

то сестренки с каким-то страхом оглядываются назад, на вытянувшуюся за машиной вдоль всей улицы огромную толпу, и я тоже стала оглядываться и тоже чего-то боялась, потом догадалась: боялась в этой толпе увидеть Красовскую.

Господи! Что она с нами сделала! Светка совсем еще ребенок, многого не понимает, но при одном имени Красовской ее всю начинает трясти, как в лихорадке.

Все, все в ней — зло.

Не знаю, где и когда я читала мрачную сказку о том, как один ученый растил свою дочь среди ядовитых цветов, и в конце концов она сама пропиталась ядами и стала самым смертоносным существом на свете. Проползет мимо нее ящерица — и тут же забьется в смертельных судорогах. Коснется головы бабочки — и сейчас же та упадет к ее ногам. От ее дыхания гибли цветы. Какими ядами пропитана Красовская? Будь проклята она! Будь проклята!

*Людмила».*

## НА РЕКЕ

### ПОВЕСТЬ

I

Сашка еще не видел рыбины — на далеком конце лесы, упруго сопротивляясь, она маятником, из стороны в сторону, ходила под водой, но по тому, как струнно гудела леса и как больно врезалась в ладонь, он уже ликующе соображал — большая рыбина, заматерелая, быть может, такая, какую он еще никогда и не вылавливал. Потом вода разверзлась, и вся рыбина явилась взору. Прекрасная семга с женственно-белым сверкающим брюхом. Она поднялась на хвосте в воздух и, рванув на себя гудящую лесу, снова опрокинулась в воду. И Сашка вдруг не устоял в лодке, вылетел из нее будто легкое перышко.

Вода залила глаза, нос, уши, забила песком рот, а он все никак не мог высвободить запутавшуюся в леске руку и всплыть на поверхность. Его одолел жуткий страх. Тонет, тонет! Сашка из последних сил судорожно дернул рукой и пробудился.

Он лежал на берегу, головой к воде, и мелкие волны заплескивали ему в лицо.

Сашка оперся руками о мокрую гальку и со стоном поднялся сначала на колени, потом на ноги. Его пошатнуло — по жилам все еще бродил хмель. Во рту было вязко от песка. Он вывернул язык и сплюнул. Плевок шлепнулся рядом с собакой, сидевшей в сторонке. Собака вдруг вскочила, ощерила зубы и угрожающе рыкнула.

— Ты что, Кукла? — удивленно просипел Сашка,— Аль не признаешь? Ну-ка иди сюда, иди! — и поманил ее негнущимся пальцем.

Но собака и с места не сдвинулась, настороженно следила за хозяином. В кольцо свернутый хвост над спиной замер, закостенел, как перед зверем. А когда Сашка сам шагнул ей навстречу, она, пятясь, снова ощерила клыкастые зубы и тявкнула.

Сашке стало не по себе: такого еще с ним не бывало, чтобы собственная собака, вскормленная, вспоенная со щенячьих пор, не признавала его. Он поднял руку и ощупал лицо — огромное, рыхлое, чужое. Глаза упрятались под наплывами щек — пальцем не доберешься. В щетине — песок. Волосы на голове тоже все в песке — слиплись, свалялись.

— Ах, ты, мурцовка! — тоскливо пробормотал Сашка и, все еще пошатываясь, направился обратно к воде.

Слово это он услышал от проходивших мимо геологов, и называли они им сваренную из остатков какао, сухарных крошек и прогорклого масла густую тюрю. Но Сашке оно усвоилось как обозначение голодной, плохой, просто собачьей жизни.

— Мурцовка! — повторил Сашка, забредая в реку в своих резиновых сапогах с подвязанными к поясному ремню высокими голенищами.— Собачья жизнь! — и, наклонясь, окунул голову, а когда разогнулся, то увидел, что вода густо замутилась от смытых с волос и щетины песчинок.

Не закатав рукава, Сашка глубоко запускал в воду руки, плескал себе в лицо, на грудь, шею, насквозь промочил пиджак и полосатый тельник, и ему, наконец, полегчало.

Он огляделся. По убережью среди камней меловой белизны там и сям валялись опрокинутые набок бочки с

красными от ржавчины обручами; в маленькой бухточке, образованной двумя валунами, покачивалась на волне длинная просмоленная лодка с подвесным мотором; слышно было, как винт мотора скребся о донную гальку.

Воздух на реке дымился от испарений, тускло и жарко светило полуденное солнце, в спину из леса тянуло душным угарным теплом — парило на дождь...

Выходит, он провалялся весь вечер, всю ночь и еще утро. Кузьма наверняка уже побывал здесь, засолил улов, выспался и снова уехал... Даже от реки не оттащил пьяного. А вода прибывает, на Урале прошли дожди. Вон и лодка на плаву, а вчера, помнится, затаскивал ее на камни. Мог и в самом деле утонуть... Дал бог напарничка!

Как же это у него вышло? Сашка наморщил лоб, припомнил вертолет, парней в белых рубашках, рюкзак с водкой, и стало еще тошнее. Лучше бы уж не просыпаться, захлебнуться песком — не вспоминать!

— Мурцовка! — скрежетнул он зубами, выходя на берег.

Кукла уже не скалила зубы, не рычала, но еще и не решалась подойти поближе к хозяину, приласкаться.

Сбивая с камней насохшую меловую пленку, Сашка прошел мимо пустых опрокинутых бочек, мимо врытых в землю стола и скамеек, мимо низко натянутого тента, под которым висел на колышках грязный, в раздавленных комарах, марлевый полог, вступил в захламленный лес, спустился в ложбинку, некогда бывшую речной протокой, и влез в густые заросли узколистого тальника. В глубине этих зарослей замаскированная со всех сторон нагнутыми и подвязанными сверху талинами стояла точно такая же бочка, какие валялись на берегу,— побуревшая от времени, с ржавыми обручами. Сашка вытащил

из кармана складень, разомкнул, поддел острым концом крышку и отвалил на землю.

Изнутри бочка была влажной, с желтыми крупинками соли на осклизлых стенках, вчера она еще наполовину была забита рыбой, а сегодня три или четыре семги, распластанные с головы до хвоста и вывернутые розовато-грязным нутром вверх, едва прикрывали дно.

— Так, так,— произнес Сашка, повернулся и полез из кустов, даже крышку не стал поднимать: пропадай все пропадом, протухай — не жалко!

...Вертолет летел низко вдоль реки. Он будто что-то выискивал, высматривал, как халей высматривает в воде рыбу. К стеклу кабины прильнуло молодое белое лицо. Сашку заметили, помахали за стеклом рукой, и тотчас же вертолет завис на месте, словно подвязанный за нитку, и стал тихо падать на песчаную косу.

Лопасти густо взрябили воду, и она сделалась черно-синей, как перед грозой. Вертолет плотно сел на свои короткие лапы, обутые резиной. Лопасти, еще недолго побегав друг за другом, замерли, провисли, стало тихо. Потом щелкнула дверца, распахнулась пустым темнеющим овалом, и на белые прогретые камни спрыгнули двое парней: один повыше, другой — пониже, но оба худощавые, узкобедрые, в синих обуженных брюках, в одинаково белоснежных просвечивающих рубашках, при галстуках, заносимых на сторону ветром, в одинаково синих фуражках с золотистыми крылышками на высоких тульях — такие ухари, такие молодчики, что Сашка даже заробел перед ними.

Они шли рядышком, нога в ногу, поскрипывали по камням лакированными ботиночками, проваливались в мелкий песок. Тот, что был поменьше, нес полупустой рюкзак, а другой, повыше, еще издали поднял руку, открыл в улыбке все свои молодые зубы и крикнул:

— Здорово, рыбак!

Почему-то все, кто появлялся на реке из другого мира,— геологи, туристы, да хотя бы эти самые вертолетчики,— разговаривали с Сашкой нарочито грубовато, ненатурально.

— Здорово, коли не шутишь,— подлаживаясь под игривую интонацию вертолетчиков, ответил Сашка.

— Ну, как? Ловится рыбка?

— А куда ей подеваться?

— Большая или маленькая?

— Всякая-разная...

— И семга ловится?

— И семга.

— Мы вот тебе подарочек привезли,— высокий выдернул из рук товарища рюкзак, раскрыл его на весу и одну за другой выставил на облепленный чешуей стол три поллитровки.— Три огнетушителя,— входя в раж, расписывал он. — Самая что ни на есть московская! Слезиночка-росиночка! Сам бы пил, да себе дороже. По семужке за штуку. Ну как — по рукам?

Сашка прикинул: поллитровка — трешница, а семга по семь рублей за килограмм идет, да и нет у него килограммовых, на четыре, на пять да на восемь тянут, но и то сказать, сам он по семь рублей никогда не берет, а берет, кто сколько даст, и водку теперь не в магазине покупает, куда надо ехать да ехать, а прямо в лесу, прямо в руки — это тоже кое-чего стоит. Три поллитровки, три огнетушителя! Ого! Надолго хватит! Если по стаканчику в мокрые дни, почитай, до самой осени.

— Ладно,— сказал Сашка.

Он провел вертолетчиков в заросли тальника и вскрыл перед ними потаенную бочку.

— О! — вскликнули враз вертолетчики, глаза у них алчно загорелись, и, оттеснив Сашку, оба завороженно

нависли над бочкой. Потом, опомнившись, торопливо засучили рукава прозрачных сорочек и, запустив руки в бочку, принялись лихорадочно ворошить рыбу, ища покрупнее. Высокий вытащил со дна самую большую рыбину.

— Вот эта стоит пол-литры! В рюкзак!

Сашке не жалко было семги: коли уж сам привел в тайник, пусть себе выбирают, но смотреть на то, как жадничают парни, как теснятся головами и плечами над бочкой, было обидно и неприятно. Длинные концы галстуков намокли в тузлуке, и, когда парни на минутку распрямлялись, галстуки липли к белоснежным рубашкам, оставляя на них кровянисто-желтые пятна.

— Послушай,— сказал меньший.— Нечетное число. Делить неудобно. Возьмем-ка мы еще одну. Как раз по паре и придется,— и, не дожидаясь Сашкиного согласия, он затолкал в рюкзак четвертую рыбину.

— Это мы женам привезем,— сказал другой.— Пусть жены полакомятся красной рыбкой. А себе на дорожку еще бы надо.

«Разыгрался аппетит! Взять бы их за худые шеи, да оттащить от бочки, может, и поунялись бы»,— рассерженно подумал Сашка.

Однако он этого не сделал и не сказал ничего, только нахмурился и отвернулся, чтобы не глядеть на разгоряченные лица вертолетчиков; затылком чуял, как еще одна рыбина скользнула в рюкзак.

Потом парни ухватили рюкзак за ремни и поволокли его к реке. Со взмокших углов выжимались на траву мутные капли рассола.

Сашка закрыл бочку и тоже стал выбираться из кустов. Когда он вышел на берег, вертолетчики уже влезли в машину. В темном проеме коротко мелькнула

белая рубашка, и тут же, металлически щелкнув, дверь захлопнулась.

Сашка чуть не взревел от обиды: нахватали, налапали целый мешок и ни спасибо тебе, ни доброго словечка, сигаретой даже не угостили, будто не человек он, а дерьмо какое-то.

А вертолет уже раскручивал лопасти. Сашка не стал дожидаться, пока он взлетит, повернулся и подошел к столу, на котором стояли бутылки с водкой, вскрыл одну, опорожнил в большую алюминиевую кружку и в тот момент, когда вертолет рвал и комкал над рекой воздух, запрокинул голову и одним духом выпил...

Что же было дальше? Сашка вспомнил, что вскорости он таким же манером разделался и со второй бутылкой, а вот куда подевалась третья, он уже не мог упомнить. Может, припрятал, приберег на похмелку?

Он обошел вокруг стола и разыскал сначала одну бутылку — в траве, потом вторую — в кустах, а потом и третью, валявшуюся с отбитым горлышком между камней у самой воды.

«Вот ведь, дьявол! — мрачно подивился он.— Все вылакал! И не подох как-то!»

Парило еще сильнее. Даже от реки не тянуло прохладой. Насыщенный парами воздух блестел на солнце — больно было глазам. Сашку пробил пот. Дрожали руки, противно щекотало и покалывало под кожей, будто там не кровь двигалась вялыми толчками, а шишечки репья.

Подправить здоровье можно было только крепким чаем. Сашка насобирал хворосту, свалил на старое костровище, но тут до его слуха донесся посторонний нелесной шумок — точно где-то в отдалении снова стрекотал вертолет. Сашка вытянул шею: стрекот то пропадал, то снова возникал, и доносился он с домашней стороны. Звук слишком медленно набирал силу, и Сашка нако-

нец догадался, что никакой это не вертолет, а обыкновенная моторная лодка. Через минуту он еще раз уточнил: не лодка, а полуглиссер с десятисильным стационаром. Такой полуглиссер, цельносварной из дюраля и покрашенный в голубое, был один на всем Шугоре, и гонял на нем разлюбезный Сашкин дружок — ни дна ему, ни покрышки! — рыбнадзоровец Петька Дерябин.

«Как волка травит»,— тоскливо подумал Сашка.

Сравнение с волком приходило на ум и раньше. В Сашкиной деревне все казенные дома — и клуб, и магазин, и правление колхоза, и пристанские постройки — оклеены пестрыми плакатами, призывающими к беспощадной борьбе с браконьерами. С одних кричат аршинные буквы: «Браконьер — враг природы!», с других таращит глаза и сам браконьер, насмерть перепуганный грязный мужичонка, поддетый на огромные зубастые вилы, олицетворяющие, верно, правосудие; на третьих, наконец, означена настигшая его кара — пятидесятирублевый штраф за каждую семужью голову. Плакаты были самых разных цветов — серые, желтые, голубые, зеленые, черные, но Сашке все они мерещились ярко-красными, будто флажки на снегу, которыми зимой обкладывают охотники выслеженного волка.

Позабыв о чае, Сашка напряженно слушал.

Шум мотора пропадал в те минуты, когда лодка обходила береговые скалы, глушившие звук, и возникал снова, когда она выскакивала на широкие звонкие плесы.

По этим перепадам в звуке Сашка мог точно определить местонахождение полуглиссера. Сейчас он подкатывал к высокой горе, бесплотной тенью проглядывавшей сквозь сверкающее серебристое марево. По прямой до горы было около двух километров, и в ясные дни ее вершина, похожая на колокол, с прямоугольным камнем

на куполке — ушком для подвески, была видна, как на ладони.

«Неужели он и сегодня полезет? — сомневался Сашка. — Ведь ни черта не разглядеть. Даже в бинокль. Даже в подзорную трубу, если бы она у него была».

Однако под горой мотор смолк, наступила тишина, нарушаемая лишь плеском воды, с которым Сашка настолько свыкся, что в обычное время уже и не замечал.

В другие дни, опознав на слух полуглиссер, Сашка взбирался на стол, нахально выставлялся во весь рост и терпеливо ждал. Минут через двадцать на открытом буром склоне, близ макушки, показывалась черная точка, по-черепашьи медленно карабкающаяся вверх. На макушке, у камня, точка вытягивалась в черточку, в былинку, в которой, если приглядеться, можно было распознать человека, а если приглядеться еще и с загадом, то можно было представить, как человек этот тяжело отпыхивается после крутого подъема, как сняв с головы форменную с зеленым околышем фуражку, отирает платком взмокший лоб, как потом берется за болтающийся на груди бинокль, подносит к глазам и наводит его в Сашкину сторону, и по тому, как Сашке вдруг хотелось сползти со стола, забиться куда-нибудь в кусты, он догадывался, что бинокль его нашарил... Волк загнан в тупик. У волка единственный шанс на спасение — броситься на самого охотника... И Сашка вскидывал над головой кулак, грозился, изрыгал страшные ругательства, от которых даже Кукла поджимала хвост и опускала уши.

Сегодня представления не будет. Не та видимость. Казалось бы, можно спокойно заняться своим делом — разжечь костер и поставить чай, но куда там... Тишина пугала. И мнилось Сашке, что Дерябин не полез в го-

ру — не такой уж он дурень, чтобы попусту лазать по кручам, надсажать грудь, а крадется тишочком по берегу или по лесу, срезая путь, и вот-вот объявится тут... «Встанет передо мною, как лист перед травою». А у него и бочка по-настоящему не укрыта и тропа к ней стала, что торная дорога, — вертолетчики натоптали, перекатить бы в другое место, да где теперь успеть! И такая тоска вдруг взяла его в оборот, какой он прежде и знать не знал. В руках громко прыгал коробок со спичками, ноги обмякли. Не с похмелья же это. Сломался, сломался!.. Ах, чертовы вертолетчики, вынули из него душу. Теперь, без души да без уверенности, проиграет он Дерябину. Выследит тот его, изловит, турнет за решетку, проглотит живьем и не поморщится.

— Та-та-та, — вдруг забил мотор.

Сашка обтер рукавом мокрый лоб и, перешагнув через костровище с хворостом, побрел на ватных ногах к тенту. Уже не хотелось никакого чаю, а хотелось упасть навзничь, вытянуть слабые ноги и забыть обо всем на свете — о вертолетчиках, о Дерябине, о своей незадавшейся жизни.

Постукивание мотора с каждой минутой слышалось все глуше и глуше, и скоро опять напоминало гудение вертолета. Сашка приподнял полог, залез с сапогами на вонючие свалявшиеся овчины, служившие ему постелью, вытянул ноги...

«Пока не поздно, надо мотать с реки, — думает он. Что его держит? Работа? Да какая же это к дьяволу работа — три месяца в году! — одна видимость, а не работа». В начале лета получает он от рыбзавода полтонны бензина, два куля соли, сухари, сахар, чай, крупы разные, макароны, молоко сгущенное — чего душа пожелает — и на своем моторе, разбитой «Москве», поднимается за двести верст вверх по Шугору, ловит

на кораблик хариусов, засаливает в бочках, вытапливает из внутренностей жир, а осенью, подгоняемый снежком, скатывается обратно, рассчитывается добытым за сожженный бензин и съеденный харч: хариусы идут по тридцать копеек за килограмм, жир — по рубль с полтиной. Деньги! Кто видит их, так это Кузьма, который даже бензин ухитряется добывать где-то на стороне, задарма, а провиант весь возит домашнего изготовления: сухари из объедков, бруски свиного сала, масло, и так с ним жмется, что тошно смотреть... Зато осенью он уже и поплюет на пальцы, так и этак перебирая толстую пачку червонцев, а Сашке и счетом не потешить себя: почти весь заработок уходит за аванс. Вот и должен еще полагаться на семужку (хотя Кузьма тоже не промах: попадется — обратно в реку не выпустит). Летом семужка выручает, а зимой — лось. Зимой в их деревне уж и вовсе не заработаешь. В колхозе в эту пору своим делать нечего... Как-то пригнали из города тунеядца да тунеядку, так председательша Дуська Потоскуева наотрез отказалась их принять. «Своих хватает!» — заявила она, намекая и на Сашку, и на Кузьму, и еще на трех мужиков, промышлявших для рыбозавода.

Как ни крути, с какой стороны ни взглядывай, а права председательша — тунеядец он, браконьер, волк, не по закону живет, оттого и нет в его жизни никакой твердости, а есть только одна шаткость да неуверенность... Давно бы пора расписаться с Катей, ввести в избу, жить вместе. И люба она ему и жена уже, считай, а он все тянет, изворачивается, все боится — изловят, посадят, падет срам на Катину голову. Но он этого не может позволить. Лучше уж врозь. Пока врозь, все, что он делает, ее вроде бы не касается.

Нет, надо мотать, мотать! И есть куда. Старший

брат приглашает в Воркуту: «С твоей-то силой по пятьсот будешь выколачивать в шахте». Средний зовет на нефтеразведки, тоже грозится большими деньгами. Оба они чуть ли не с малолетства разъезжают по стране, только он, меньший, все еще, как Иванушка-дурачок, сидит на отцовской печке. И отца уже нет, и матери нет, а он все сидит...

— Заколотить избу или продать на дрова, — наконец решает Сашка. — Катю с собой и айда. Куда глаза глядят. Хоть в шахту, хоть в разведку, хоть мешки таскать где-нибудь на пристани. Хуже не будет, а человеком станешь.

## II

Напористо и слитно гремел по брезенту дождь. Влажный ветерок шевелил обсыпанные каплями марлевые стенки полога. Впервые за весь день легко дышалось.

Спать бы да спать в такую погоду, отлеживаться вволю со злого похмелья. Но сквозь сон Сашке показалось, будто он уловил вблизи чужие голоса. Тут и Кукла предостерегающе взлаяла на берегу. Значит, не ошибся, слышал-таки голоса. И Сашку точно кто в бок подтолкнул: неужели Дерябин?

Он проворно сел на овчинах, поднял полог и высунул наружу голову.

Нагоняя на землю сумрачь и холод, ворочались в небе тяжелые косматые тучи. Густо лил дождь. Потемнел лес на противоположном берегу. Потемнели камни. Только одна река светло и ясно кипела от дождевых струй.

А по реке, по вспененной быстрине, неслись, проплывали, стоя по щиколотку в воде, двое — насквозь промокшие парень и девка.

Сашка даже не сразу сообразил, на чем они плывут, на какой такой подводной лодке, и, только вглядевшись получше, разобрал — да на плоту же, на малюсеньком салике, полностью затонувшем под их тяжестью. «Туристы, — успокаиваясь, подумал он. — И, видать, неопытные».

Те двое отчаянно махали короткими оструганными шестами, гребли, толкались о дно, пытаясь направить плот к берегу, но быстрина не выпускала его, протаскивала вместе с пеной мимо Сашкиной стоянки. Наконец девка выбилась из сил, швырнула шест в воду и, оборотив к Сашке наполовину скрытое под капюшоном бледное личико, крикнула слабым обиженным голосом:

— Ну что вы смотрите? Помогите же!

Сашка уже был на ногах. Он взял из лодки моток веревки и запрыгал по камням вслед за плотом. Кукла, перестав лаять, бежала впереди хозяина.

— Сейчас милая, — бормотал на ходу Сашка, радуясь и тому, что это туристы, а не Дерябин, и тому, что целый вечер проведет среди людей, в разговорах, которые отвлекут его от самого себя.

Метрах в пятистах от стоянки река круто загибала вправо, течение било в левый берег, и плот так близко вынесло к камням, на которые успел выскочить Сашка, что ему даже не пришлось веревкой воспользоваться,— перехватил рукой. Туристы выбрели на берег. Плотик сразу же всплыл, показав все свои жалкие суковатые жердочки, связанные между собой чем попало — где гнилой веревкой, где ржавой проволокой, а в одном месте даже шелковой лентой; чудно было, что он еще держал, не рассыпался на перекатах; всплыли на поверхность и два тощих промокших рюкзака и подвязанная к ним сверху не то доска, не то что другое, плоское и широкое, тщательно завернутое в клеенку.

— Спасибо, друг! — парень торжественно протянул Сашке худую костлявую руку; сам он был тоже худ и костляв и его можно было бы признать за подростка, еще неокрепшего, еще тянущегося вверх, если бы узкое лицо не обросло рыжей христосовской бородкой; да и весь он своей прозрачностью, худобой, длинными волосами и этой бородкой походил на Исуса. Сашка тотчас подумал, что в деревне его так бы и прозвали — Исусик. — Спасибо, спасибо, — с жаром тряс он Сашкину руку, будто тот сотворил сейчас невесть какое благодеяние. — Унесло бы черт-те куда — и до стоянки твоей не добрести. Совсем до ручки дошли. Сверху вода, снизу вода. Спички промокли, обогреться нечем. Да что обогреться! Третий день крошки во рту не было, с ног от голода валимся. Вся надежда на тебя, брат. В накладе не останешься. Я, понимаешь ли, художник. Из Москвы. А это моя жена,— кивнул он на девушку, стоявшую молча за его спиной с растопыренными руками.— В клеенке — мои работы. Перестанет дождик — покажу.

Несмотря на бедственное положение, в какое они попали, художник говорил веско, уверенно, с сознанием собственного достоинства, словно наперед знал, что ему не откажут, помогут, выручат. Впрочем, почти все, кто время от времени приставал к Сашкиной стоянке, вели себя подобным образом — уверенно, требовательно, покровительственно, точно по какому-то неписаному закону он от рождения должен был им служить — и только.

— Пойдемте, — сказал Сашка.

— Ну, что я говорил! — воскликнул художник, обернувшись к своей подруге, застывшей позади все в той же неуклюжей позе. — Добраться бы только до человека или до охотничьей избушки. И мы будем сыты и

обогреты! Таков закон тайги! Говорил я тебе? А ты все сомневалась, не верила... Избушка нас тоже спасла бы. Охотники оставляют в них спички, продукты, дрова. На тот случай, если забредет кто-нибудь вроде нас с тобой, голодный и продрогший. Правильно я говорю? Кстати, как вас зовут? — повернулся он снова к Сашке.

— Александр. Можно Сашкой.

— А я — Феликс, она — Вера. Ну, вот и познакомились.

Феликс взошел на плотик, и тот снова затонул под ним.

— Поклажа у нас невелика, — проговорил он, отвязывая рюкзаки. — Все съели или растеряли.

Рюкзаки и в самом деле были легкими, если что и тянули, то от воды, и Сашка оба их подвесил на левую руку, а в правую взял под мышку завернутые в клеенку работы художника.

Вера сразу же отстала. Она и шла с растопыренными руками — не гнулась затвердевшая, как железо, брезентовая куртка.

Феликс не отставал, хлюпал раскисшими сапогами рядом, рассказывал по дороге о себе, изливал душу, как бы заранее платя своей откровенностью за будущие хлеб-соль.

Он, собственно, еще не настоящий художник — учится. Вера тоже пока никто, школу только успела окончить. Поженились всего полтора месяца назад, и этот поход у них вроде свадебного путешествия. А сам он должен еще написать серию таежных пейзажей для дипломной выставки в институте. Конечно, легкомысленно было отправляться с Печоры на Урал по крупномасштабной карте, но другую в наше время где найдешь? В первые дни все было хорошо. Вдоволь продук-

тов, чудесная тропа. Шли по берегу быстрой холодной речки. Часто делали стоянки... Ах, эти стоянки! Еще минуту назад какая-нибудь поляна на берегу была им совершенно чужда, безразлична, как и множество других, по которым тащились, согнувшись под тяжестью рюкзаков, но вот они решают остановиться, и глаз уже с радостью примечает цветы на поляне, а по краям ее — молодые пушистые елочки, лапник с которых пойдет на лежанку, в центре — раскидистую березу, которая по утрам будет затенять палатку и не даст ей прокалиться, и эта, еще минуту назад совсем чужая, поляна вдруг становится привычной, родной, особенной, будто с детства на ней вырос. Когда же они совсем освоятся тут — поставят палатку, разожгут костер, протопчут в высокой траве тропинку к речке, то кажется обоим: лучшего места и в мире не найти... Так они влюблялись в каждую свою стоянку... Но вот речка кончилась, пропала в ржавом болоте, и все вдруг стало плохо. Ни полянок, ни березок. Марь и топь. Да еще гнус — спасу нет. И гор не видно. Тут где-то должны быть, близко, а не видно. Вскоре и совсем ориентировку потеряли. Заблудились, значит. И в рюкзаках уже легко, животы подтягивает. Феликс струхнул изрядно. Не за себя, за жену. К счастью, снова вышли на какую-то реку. Рубить настоящий плот уже сил не было, кое-как связал вот этот... А что за река и куда течет, он и теперь не имеет представления. Хорошо бы в домашнюю сторону. Досыта напутешествовались...

— Шугор, — сказал Сашка. — Впадает в Печору. До Печоры еще двести километров. Дня четыре проплывете.

— А до жилья?

— Тоже двести. Первая деревня в устье Шугора.

— Далековато, но теперь не пропадем.

Пока они шли до стоянки, дождь прекратился. В разгоняемых верховым ветром тучах появились разрывы, над рекой заметно посветлело.

Сашка разжег костер и ушел за продуктами. Гости встали у огня, вытянули перед собой красные озябшие руки и простояли в таких позах, окутанные паром и дымом, до тех пор, пока он не позвал их к столу. Там были навалены сухари, сахар, малосольная рыба. Попыхивал через носок горячим паром чайник.

— В рай попали,— воскликнул Феликс, набрасываясь на еду.

Вера откинула с головы обмякший капюшон. Лицо у нее было совсем еще юное, с детскими ямочками на зарозовевших у огня щеках.

— Нам, наверно, опасно сейчас есть? — застенчиво улыбнувшись, подняла она на Сашку большие синие глаза.

— Ничего,— поторопился он успокоить девушку.— Сухари да чай — пища легкая.

Он смотрел на супругов, удивлялся их резкой непохожести и с непонятной для себя завистью думал: рисково живут, уверенно, на хлеб еще, поди, сами не зарабатывают, а уже поженились, в тайгу вот вдвоем не побоялись отправиться... рисково.

Все трое сидели за столом, когда к стоянке подкатила желто-новенькая, изнутри только просмоленная лодка, и из нее вышел на берег легонький старик с козлиной седой бородкой на худом темном лице. Пиджак на нем был сухой — ливень, верно, пересидел где-нибудь в укрытии. Равнодушно глянув из глубоких черных впадин на гостей, он буркнул что-то вроде приветствия и тотчас занялся возле лодки своими делами.

— Кузьма. Мой напарник,— пояснил Сашка.

— Дедушка! — весело крикнул Феликс. — Рулите к столу. Пока чай не остыл.

Кузьма, пытавшийся вытащить из лодки тяжелую бочку с рыбой, даже головы не повернул.

Сашка спустился к реке помочь старику.

— Кто такие? — хмуро спросил тот.

— Художники, говорят. Из Москвы. Муж с женой.

— Врут, — убежденно прошипел Кузьма. — Он уже с бородищей, а ей, поди, и двадцати нет. Полюбовники. Жену свою он дома оставил.

«Вот ведь глазастый хрыч! — подивился Сашка. — Кажется, и не смотрел в ту сторону, а все разглядел».

— Ты, что ли, их потчуешь?

— Я. Свое в лесу поели.

— Наверно, у них деньжиц полные карманы?

— Откуда мне знать?

— А как не заплатят?

— Да перестань, Кузьма. Что мы, не люди с тобой?

— Ох, сердобольный! Ох, сердобольный! — в сердцах сплюнул старик. — У самого ни кола, ни двора, и все туда же — помогать. Ты о себе позаботься.

— Мне не много надо, — огрызнулся Сашка. — Я ведь на тот свет не коплю.

— Ладно, — примирительно буркнул старик. — Ты спроси-ка лучше, может, блесны у них есть али какая другая снасть. Променяю на рыбу.

— Сами наловят.

Пока они, переругиваясь, выкатывали на берег бочку, художник распаковал свои работы и приготовил их для обозрения.

— Я ведь тебе обещал, Александр. Ну вот, смотри, — показал он на подмокшие листы картона, расставленные вдоль скамеек.

На листах пенились меж камней голубые ручьи,

пестрели яркими цветами лесные поляны, томились на жарком солнце пышные, с распущенными, как веера, хвойными лапами сосны; бывшему матросу-черноморцу чудно было, что сосны эти походили на южные пальмы.

— Ну, что скажешь? — теребил художник, и по голосу его слышалось, что он ждет похвалы.

Сашка не знал, что в таких случаях говорится, но художник все наседал, и он смущенно выдавил из себя — красиво, мол, потом, осмелясь, добавил критически, что сосны на листах походят на пальмы — как же это так?

— Да ты просто молодец! — радостно взмахнул руками художник и повернулся к сушившей перед костром мокрую палатку жене. — Вера, послушай, что он говорит. Мои сосны походят на пальмы. Точно! Я так их и вижу — северные пальмы. А тайга — джунгли... Вот что значит простой глаз!

Опасаясь, как бы художник не заставил его еще что-нибудь произнести, Сашка отошел к костру.

Вера клевала носом. От палатки валил пар. «Когда она еще просохнет, — подумал Сашка. — Девка с ног валится, да и время позднее, пусть-ка ночуют под пологом. Сам я как-нибудь перебьюсь». Вера не заставила себя упрашивать, выпустила из рук палатку и поплелась под тент. Вскоре к ней присоединился и муж.

Воздух был крупинчато-серым, ночным. Река покрылась туманом. От мокрых камней тянуло промозглым холодом. Кузьма, забиравший по утрам в лодку все свое добро — и тент, и полог, и постель (как бы не разорили без догляда), теперь снова вытаскивал его на берег, готовясь ко сну.

Сашка подбросил в костер дров, завернулся в плащ и прилег рядом на землю. Потрескивали дрова. Плескалась вода. «Легко, рисково живут ребята, — снова думал

он про гостей, спавших под пологом. — Пешком забрести в такую даль, без хлеба. А не встреться он им, что бы с ними было? Но зато хорошо вдвоем, тепло, не затоскуешь, как сам он каждую ночь тоскует по Кате». И, вспомнив про Катю, он уже ни о чем другом думать больше не мог.

Вот она стоит перед его глазами, рослая, сильная, под стать ему самому, такая, какой он увидел ее в первый раз среди деревенских девчат, столпившихся в ожидании танцев возле клубного крыльца. Он вернулся домой, угостился немножко, посидел у постели больной матери и, разодевшись в пух и прах — в клешах, матроске, тельняшке, в лентах с якорями, тоже явился в клуб. Окна в зале были завешаны черным толем (накануне показывали кино), танцевали при электрическом свете, баянист, верно, ради Сашкиных ленточек заиграл вальс «Амурские волны», и Сашка через весь зал прошел к приглянувшейся девушке, и она нисколько не удивилась, будто даже ждала его приглашения, оттолкнулась от стены и доверчиво положила свою руку ему на плечо, а когда танец подходил к концу, она лукаво блеснула глазами и сказала: «Я вас знаю». «Откуда же? — обрадовался разговору Сашка. — Меня тут давненько не было. Пять лет почти».— «Мы в одной школе учились. Только вы в десятом классе, а я в пятом или шестом». Сашка тотчас представил школу в соседнем селе, в которую он ходил за семнадцать верст из деревни. представил пыльные классы, коридоры с выбитыми до ям полами, черный, без единой травинки школьный двор, все живо восстановил в памяти, только эту девушку никак не мог вспомнить. Ну да, догадался он, в те времена она была совсем еще пигалицей, от горшка два вершка, он и внимания на таких не обращал, где же теперь вспомнить...

После танцев они провожались до утра... «Ты не поверишь, — говорила Катя. — Я о тебе еще со школьных вре-

мен думаю. И когда в армию ушел, тоже вспоминала. Только не чаяла дождаться. Ведь все ваши разбежались из деревни... А ты вон и приехал».

Обогрела его Катя, на всю жизнь обогрела, и ему бы надо с ней по-хорошему, по-людски, но разве мог он позволить, чтобы и она вместе с ним чувствовала себя обложенной охотниками.

Вот теперь, когда он решил уехать, все будет по-другому, по-настоящему. Не хуже, чем у этих ребят.

«Дождаться бы только осени»,—думал с надеждой Сашка, но на сердце отчего-то было смутно и неловко, может оттого, что вот скоро уедет, а ни разу даже не свозил сюда Катю, не порыбачил с ней вместе, хотя она все время просила об этом.

## III

На рассвете, разбуженный у остывшего костра холодом и сыростью, Сашка собрался на рыбалку. Перед тем как столкнуть лодку, он подошел к пологу и расшевелил Феликса.

— Продукты знаете где? В бочках. Ешьте вволю, не стесняйтесь. Если надумаете плыть дальше, то и на дорогу возьмите, сколь надо.

— На рыбалку? — заворочался под пологом художник. — Можно с тобой? Я никогда не видел, как ловят хариусов.

— Если охота... Только не мешкай...

Через десять минут оба уже были в лодке. Сашка сидел высоко на корме, управлял мотором, а художник, накрывшись с головой брезентовой курткой, забился в нос, дрожал всем своим худым телом, и под боком у него побрякивал плоский ящик с рисовальными принадлежностями — этюдник.

Лодка шла против течения. Над рекой стоял густой

туман. То справа, то слева показывались похожие на грязные клубы дыма купины прибрежных кустов, но самих берегов не было видно. На обоих заволгла одежда, и от встречного воздуха, как от родниковой воды, поламывало зубы.

На перекатах туман не стоял на месте: подхваченный острым ознобным ветерком, который вздувала за собой разбежавшаяся вода, он тоже катился вниз... Они прошли один перекат, второй, а на третьем Сашка вывалил за борт стальное зубчатое колесо, заменявшее ему якорь, и остановил мотор. Лодка рванулась вспять, дернулась на привязи и, развернувшись носом в обратную сторону, вытянулась на туго натянутой веревке в струнку по течению.

Феликс, вспугнутый толчком, поднял голову.

— Приехали, — весело сказал Сашка. — Сейчас начнем...

Не хотелось Феликсу покидать свое уютное местечко в носу, но желание посмотреть на Сашкину работу вблизи взяло верх, и он переполз, держась за борт, на корму.

Сашка готовил к спуску свой кораблик. Это была полуметровая доска, темная, не новая, уже послужившая немало по другой части — либо тесиной в заборе, либо еще чем; один край у нее был скошен; в короткое ребро килем вделана железная скоба; Феликс тотчас догадался, что скоба эта предназначена для того, чтобы кораблик держался в воде стоймя; сбоку к кораблику за маленькие металлические ушки были подвязаны четыре коротких поводка, сходившихся, как у бумажного змея, в одном узелке; дальше от узелка шла крепкая миллиметровая леса — нить, на которой через каждые полтора-два метра висели на таких же крепких поводках трехжальные якорьки с пестрыми волосяными мушками, много якорьков, может, пятнадцать, может, двадцать, а может, и больше.

Все они перепутались между собой, и сейчас Сашка с привычным терпением разбирал их и развешивал один к одному вдоль борта.

Когда эта работа была закончена, Сашка выкинул кораблик на воду. Тот всплыл вверх длинным ребром и, натянутый на леске, встал против лодки. Метр за метром отпускал Сашка лесу, одну за другой скидывал с борта мушки, и кораблик уходил против лодки все дальше и дальше — в туман, в таинственную неизвестность — точь-в-точь бумажный змей улетал в заоблачную высь.

Еще не все мушки были скинуты с борта, а в тумане уже послышались резкие короткие всплески, совсем не похожие на равномерные, шелестящие шлепки волн. Чак-чак-чак! — бил кто-то там неведомый. Феликс удивленно и встревоженно посмотрел на Сашку, и тот, поняв его взгляд, сказал:

— Хариусы играют.

Феликс заволновался и не только забыл о холоде, но вроде бы даже почувствовал некоторый жар во всем теле.

Последняя мушка прыгала на волнах рядом с бортом. На глазах у Феликса на нее выскочил маленький харюзенок. Он захлопнул в воздухе узкий ротик и в тот же миг, поддетый за верхнюю губу, беспомощно завис над водой.

— Вытаскивай, вытаскивай! — при виде рыбы загорячился Феликс.

Сашка и сам чувствовал, что пора — леска напряглась в его руках, дергалась, ходила, и он потихоньку стал выбирать ее. Почти на каждой подвеске была рыбина. Первый харюзенок — самый маленький. Дальше пошли на полкилограмма и больше. Феликс упал на колени в мокреть и снимал с якорей хариусов. Прохладные скользкие рыбины холодили руки, но теперь ему все было нипочем — ни туман, ни холод, ни сырость.

Впрочем, когда Феликс очувствовался от первой го-

рячки, пришел в себя, тумана уже не было, исчез, растаял, точно по волшебству, над головою сияло чистое небо — ни вчерашних туч, ни дымки, сверкало солнце, высвечивая в полуметре под водой хрящеватое галечное дно (а каким глубоким оно казалось в тумане). Открылись берега: слева — низкий, песчаный, а справа — высокий, скалистый, и под самой скалой, глянцевито-влажной от осевшего тумана, качался их кораблик.

В берестяных коробках и по дну лодки, обдирая и разбрызгивая во все стороны серебристую чешую, прыгали хариусы. Феликс влюбленно смотрел на них и думал с восторгом: вот это работа, вот это жизнь, век бы не уезжать отсюда!

Но рыбы было так много, пропасть рыбы, что она вскоре как будто даже надоела Феликсу, да и возбужденные нервы требовали отдыха, и он снова перебрался в нос судна на сухое. Там выскреб из бороды чешую, обтер о штаны руки и, пристроив на коленях этюдник, попробовал запечатлеть в красках окружающее его бытие. Он писал трепещущуюся блестками реку, голубых хариусов, скалу, ставшую на солнце сиреневой; и счастливый душевный подъем, который охватил художника при виде маленького харюзенка, теперь сопутствовал его работе. Никогда еще он так остро не видел, никогда еще так верно и чисто не ложились мазки. Потом художник переключил свое внимание на Сашку, писал его крупную голову с выгоревшими и вьющимися, как стружка, волосами, писал прокаленное на воздухе лицо со светлыми, будто тоже выгоревшими глазами, писал до пояса, писал во весь рост, и к полудню у него набралось порядочно Сашкиных портретов — Сашка с рыбой, Сашка за рулем, Сашка в профиль, Сашка в фас. Тут Феликса обожгла дерзкая идея: не пейзажи он представит на дипломную выставку, а целую картину «Рыбак» с монументальным

Сашкой в центре композиции. Напишет такого рыбака, какого еще никогда и ни у кого не было. Так он и порешил.

В полдень, не выходя из лодки, они пообедали, высосали по банке сгущенки, пожевали сухарей, и хотели было уже снова разбрестись по своим местам, как вдруг услышали далеко внизу глухое урчание лодочного мотора. Кто бы это мог быть? Кузьма сейчас вверху, он прошел туда еще в тумане. И Феликс вопросительно посмотрел на Сашку.

— Один мой знакомец раскатывает,— принужденно усмехнулся тот. — Видишь гору? На колокол еще похожа. Сейчас он остановится под ней и полезет на вершину.

— Зачем?

— Ты у него спроси.

Теперь они уже не торопились вернуться к прерванным занятиям, сидели на скамейках посредине лодки, ждали. И через полчаса Феликс в самом деле различил на вершине горы, у квадратного камня, нечто вроде былинки, которой раньше как будто там не было.

— Что он все-таки делает? — недоумевал Феликс.

— В бинокль нас рассматривает.

— Вот чудак.

— Совсем не чудак, а рыбнадзоровец Петька Дерябин. Смотрит, не ловим ли мы с тобой семгу.

— Какую семгу?

— Есть такая рыба.

— Знаю, что есть. Когда водятся денежки, лакомлюсь в ресторане. Но я полагал, она в море живет.

— И в реке и в море. Рождается в реке и первые лет пять тоже здесь живет и зовут ее тогда не семгой, а тальмой. Чудно: почти у всех наших рыб по два имени, одно — для взрослых, другое — для поросли. Маленьких харюзов, вроде того, что ты первым снял с крючка, назы-

вают жиганами. Маленький осетр тоже не осетр, а лобарь... Тальма в пятилетнем возрасте в два пальца величиной. Такой она и скатывается в море, а там, говорят, всего лишь за три года вырастает в настоящую рыбу — метр длиною, полпуда весом. Приходит время нереститься, и она прет обратно. Тут уж для нее никаких преград нет, мéли так мели, на брюхе проползет, всю чешую сдерет с себя, но не повернет обратно. Под самый Урал доходит... Тоже интересно, как икру они мечут. Разобьются на пары — самец и самка. Но сначала самцы передерутся между собой. Что ты, настоящая драка! За дорогу нижняя челюсть у них загибается в крутой крючок. Сцепятся этими крючками и давай таскать друг друга, пока который-нибудь из них не уступит. Шум, плеск, пальба по всей реке. Ну, а потом рыбы парами вырывают на быстрых перекатах в галечном дне ямы, выпрастывают в них икру и молоки и снова зарывают, да не только зарывают, но еще и бугры нагребают выше воды, далеко их видно — это чтоб другие рыбы не растащили раньше времени икринки... У самок еще хватает сил уйти обратно в море, а самцы, умаявшиеся в драках, почти все на месте и погибают; в конце лета плывет по реке мертвая рыба — лохвоина, как у нас называют. На нее много охотников: халеи всякие, орланы-белохвосты, сороки, вороны. Полуживую расклевывают...

— А живую, значит, нельзя ловить? — спросил Феликс, с интересом выслушавший про житие семги.

— Нельзя. Ни сетями, ни спиннингом, ни на дорожку. За голову — штраф пятьдесят рублей, а то и решетка. Здесь на каждого рыбака по охраннику.

— Как же она в ресторан-то попадает?

— Государство ловит. В низовьях вся Печора перегорожена сетями, там ее и вычерпывают, когда на нерест идет, а сюда, бают, по счету спускают.

— И всегда так было?

— Не. На моей памяти отец ловил еще свободно. Всю зиму, бывало, ели в пирогах да в ухе, а то и просто так, заместо закуски. Все мы тут на семужке выросли. Теперь худо. У баб в праздник и пирог не с чем испечь.

— Мда-а, — потеребил бородку художник. — Грустно. Грустно жить на рыбе и не есть ее.

— Ну, и не держится народ на реке. Разбегается кто куда. Сколько селений лебедой да крапивой поросло... Я вот тоже собрался рвать когти, на что уж, кажется, коренной-прекоренной. Даже деревня, в которой живу, по моей фамилии зовется — Гордеевка. Прадед мой основа ее — Гордей. Есть еще Гордеев перекат. Рассказывают, он потонул на нем. В тайге, под Уралом — Гордеев стан, где он охотился. Вон ведь как широко пустил мужик корни, а толку что — не держат они нас...

За разговором оба то и дело поглядывали на гору. Человека возле камня уже не было. Вскрое послышалось и урчание мотора —лодка уходила.

— Какая она из себя, эта семга? — спросил Феликс. — Я ее видел только в тонких ломтиках.

— Большая рыба.

— Красивая?

— У нас зовут ее красавкой.

— Вот бы посмотреть!— с заблестевшими глазами воскликнул художник.

Сашка вприщур посмотрел на него и ничего не сказал.

— Может быть, попытаемся поймать? — загорелся Феликс. — Всю ответственность беру на себя. Что он мне сделает, твой знакомый?

— Тебе-то ничего, вот мне...

— Да он и не увидит, вниз уплыл.

— Давайте-ка лучше займемся своими делами,— сказал Сашка, поднимаясь со скамейки.

После долгого сидения Феликс остыл к работе, да и не виделось уже вокруг ничего интересного, достойного изображения, и он снова принялся помогать Сашке — снимал с крючков хариусов, усыплял их ударом головы об лодку, чтобы не прыгали много, а сам все время раздумывал о семге-красавке, о том, как бы уговорить Сашку выловить одну; он не сомневался, что тот, несмотря на строгости, втихаря побалывается запрещенной рыбкой. «Может, меня остерегается? Надо бы показать как-то, что свой я человек». Но показывать ему ничего не пришлось. Сашка вдруг распрямился, посмотрел на солнце, обошедшие с утра полнеба, на берестяные короба, доверху забитые хариусами, и сказал:

— Хватит на сегодня. Сейчас самая пора брать семгу.

Желание Феликса сбывалось. В предчувствии чего-то необычного у него быстрее заколотилось сердце.

Сашка, между тем, вынул из воды кораблик, смотал вокруг него лесу с поводками, сунул в ящик со снастью, а оттуда вытащил сухую рогатку с другой лесой, но уже без поводков и без мушек, зато с тяжелой, двухцветной блесной: сверху — золотистой, снизу — красной.

— Держи, — протянул он рогатку Феликсу. — Сядешь рядом со мной на корму. Когда я поведу лодку, распустишь всю леску. Походим с дорожкой.

Сашка поднял якорь, включил мотор, и лодка заскользила вниз по реке; Феликс, как и велено было, перебрался в корму, выкинул за борт блесну и стал распускать леску.

На тихом ходу лодка широкими кругами двигалась под перекатом. Сжав в обеих руках рогатку и затаив дыхание, Феликс ждал... Но чуда не было. Второй, третий, четвертый круг... Нет, не из удачливых он, не видать ему семги-красавки. Он устал ждать, нервное напряжение перешло в сонливость, потянуло на зевоту и тут вдруг дернуло, дернуло с такой силой, что он чуть не перевер-

нулся прямо с раскрытым ртом за борт. «То-то бы нахлебался!» — мелькнуло в голове, а рогатка все рвалась из рук, обжигала ладонь. Он беспомощно оглянулся на Сашку. Тот выключил мотор и знаком потребовал рогатку себе, но Феликс теперь не расстался бы с ней ни за какие блага на свете.

Лодку несло по течению. Леска внезапно ослабла. «Неужели сорвалась, неужели ушла?» — в отчаянии думал Феликс, легко выбирая намокшую стилоновую нить. Он выбрал не меньше трети. И снова рвануло. В тот же миг показалась и сама рыба. Она встала на хвосте — большая, грозная и как бы разъяренная, ослепительно сверкнула на солнце белым брюхом — и опять бухнулась в воду, бухнулась с громовым, подобным пушечному выстрелу, звуком, и по воде во все стороны пошли крутые круги. И началось, и началось! Туго натянутая леса не ослабевала больше ни на секунду; струнно звенела, ходила из стороны в сторону, увлекая за собой лодку; рыба то заныривала вглубь, то показывалась у самой поверхности, переворачивалась вверх белым, будто эмалевым брюхом, и в воде представлялась совсем маленькой, не больше хариуса, и не верилось, что это она с такой силой и яростью рвет из рук крепкую стилоновую жилу.

Игра была древняя, первобытная, и первобытный восторг распалил художника, и сам он ощущал себя первобытным, готовым на все — хоть в воду... Однако полностью он не забылся, чувствовал под ложечкой неприятный холодок страха, умерявший его первобытность,— в самом ли деле сошел с горы Дерябин, не притаился ли там за камнем, не наводит ли сейчас на него бинокль? Может быть, прокрался по берегу и рассматривает в упор, фотографирует. Но что ему может сделать Дерябин, снасть-то не его, Сашкина, и сам он тут с боку при-

пека, проезжий, да и убрался Дерябин, убрался, они ведь оба слышали...

Феликс беспокойно оглядывался на Сашку, но тот не понимал его взгляда, ободряюще улыбался, кивал головой, как бы говоря, что все он делает правильно, и рыба никуда не уйдет от них.

Рыба умаялась вконец, уходилась, и последние метры дались легко. Сашка перегнулся через борт, схватил одной рукой за хвост, другую с привычной сноровкой запустил ей за жабры и тут же выхватил всю в лодку. Рыба даже и не билась, только водила тяжело сиреневыми, в крапинку, боками. Дальше было просто. Сашка вытащил из кармана складень, разомкнул, вонзил острие чуть пониже головы — одним взмахом развалил рыбину по брюху до хвоста. Брызнула алая кровь. Открылись в пленках два продолговатых жгута, плотно набитых золотисто-прозрачными зернами икры. Икра лежала в жгутах полукружьями, похожими на апельсиновые дольки.

Никогда еще у Феликса так высоко не взлетали чувства. Он во все глаза смотрел на мертвую, враз потускневшую и как бы завядшую рыбину, на крупную, как ягоды, икру в дольках, на Сашку, споласкивающего нож в реке, и воспламененно думал: вот о чем надо писать, вот о чем! К черту «Рыбака». Никакого рыбака он писать не станет — столько их писано-переписано, что и нового ничего не скажешь, — а напишет «Браконьера», и в нем будет все, что он сейчас увидел и пережил, — и красавица семга, и Сашка, и ощущение первобытности, и страх, звериный страх перед рекой, перед самой рыбиной, перед всем белым светом.

...Вечером Сашка, Феликс и Вера сидели на стану вокруг костра и хлебали из мисок очищенную от пленок свежую икру. Феликс еще не остыл после рыбалки, нервно

дергался, закатывал глаза, тряс узкой христосовской бородой, вспоминал:

— Ах, какая была рыбина! Как на хвост вставала! Как леску рвала! Чудом в лодке усидел! А если бы вывалился, если бы не удержал в руках рогатку — ушла бы. О, я бы не пережил этого. Утопился!

— Далеко не ушла бы, — успокаивал разволновавшегося художника Сашка. — У нас иногда рогатку нарочно в воду бросают, дают рыбе самой умучиться.

Феликс, не вникая в Сашкины слова, уже перескакивал на другое:

— Ах, так и тает, так и тает! В Москве ведь не поверят, что мы ложками хлебали свежую икру. Да я и сам себе не поверю. Хоть не уезжай отсюда никуда.

— Живите до зимы. Мне повеселее будет, да и помощники из вас хорошие,— улыбнулся Сашка и кивнул головой на белопенный, без единого раздавленного комарика полог, висевший на молодой березке; рядом, на других березках, сушились его портки, рубашки, носки — все это перестирала в их отсутствие Вера; подле костра стоял в закопченных ведрах ею же приготовленный ужин — суп со свиной тушенкой и макаронами, компот из сухофруктов.

— Хозяйка! — похвалил Сашка.

— Это она харч отрабатывает, — подмигнул Феликс.— А дома не упросишь и носовой платок выстирать.

— Как тебе не стыдно! — вспыхнула Вера.

— Шучу, шучу... Я тоже время зря не терял. Не веришь? Сейчас покажу.

Он смахнул с колен вылизанную до блеска миску и убежал к лодке. Вернулся с этюдником.

— Теперь ты не скажешь, что мало работаю, — говорил он, вытаскивая из ящика толстую пачку этюдов. — Половину Александру, половину тебе. Смотрите.

— Да ведь это я! — удивился Сашка, разглядывая верхний картон.

— Узнаешь? — радостно отозвался художник.

— Ну, как не узнать... И это опять я, — уставился Сашка на другой рисунок.

— Ты, ты!

— Хм, — засмущался Сашка. — Разве я так уже интересен, чтобы столько трудов на меня положить.

— Еще как интересен! —загорячился Феликс. — Я, может, с тебя целую картину напишу.

— Да на нее и смотреть никто не будет!

— Будут смотреть. И радоваться будут, что живут еще на земле такие сильные, такие щедрые и душевно здоровые люди.

— Ну, какой же я душевно здоровый? — грустно усмехнулся Сашка. — Волк затравленный, которого не сегодня-завтра изловят охотники.

— Вот, вот! — обрадовался Феликс. — Тебя здесь затравили, затуркали, а я напишу человеком. Напишу так, чтобы каждый, кто увидит картину, проникся твоими болями, страхами, твоей неуверенностью и чтобы у него появилось желание помочь тебе.

— Не надо мне помогать, — недовольно буркнул Сашка.

Но Феликс, не обращая внимания на его слова, продолжал горячить свою мысль:

— В этом-то и наш долг художников — всеми силами поддерживать забитого маленького человека. Его со всех сторон утесняют, бьют, шпыняют, а мы поддерживаем, поддерживаем, чтобы вовсе не упал духом.

«Ах ты, Исусик! — не понравилось Сашке то, что его обозвали «маленьким человечком»,— тоже мне крупный человек!».

Вера же смотрела на мужа с ласковой гордостью, будто

тот черпал свои умные речи не откуда-нибудь, а прямо из ее сердца.

Феликс уже развивал новую мысль, только что пришедшую в голову:

— Да и почему же ты браконьер? Ведь ты не делаешь ничего такого, что бы не делали в свое время твои отцы, деды, прадеды. Как и они, ловишь семгу. Но им никто не запрещал. Тебе же вдруг запретили. Почему, по какому праву?.. Я представляю, как однажды приехал в вашу деревню районный деятель, собрал народ: «Отныне вы семгу ловить не будете, ибо она слишком хороша для вас, перебьетесь на мелкой рыбешке, семга пойдет более достойным людям». И в один час из честных работников вы превратились в браконьеров. Где справедливость? Это все равно, что манси или хантам вдруг запретить бить в тайге лосей, оленей, ловить ту же рыбу, то есть лишить их традиционной пищи. Вы на реке такие же коренные, как и они в тайге...

— На словах-то оно, может, и так, — сказал Сашка и поднялся.— Вы тут ешьте, а мне надо улов обработать, пока не испортился.

Он спустился к лодке, вытащил на берег короб с хариусами и, присев на корточки у воды, принялся потрошить их.

Солнце уже закатилось, река померкла, но было еще светло. Впрочем, по-настоящему тут летом и не темнеет. По ночам только как бы серые крупинки в воздухе появляются.

Художник своими речами снова разворошил Сашкины мысли...

Дед, прадед, отец... Это их кровь переливается в его жилах, их кровь волнуется при плеске хариусов, их кровь любит через его глаза весь здешний мир — и кипящую быстриной и перекатами реку, и темный лес по берегам,

и белые туманы над водой, и беззвездное летнее небо вверху... Сашке вдруг вспомнилось, как осенью плывут по реке с верховий, из-под Урала, плоты с сеном, десятки плотов, сено на них туго умято и придавлено, как в возах, тяжелыми березовыми бастрыками; на глубоких и тихих местах плоты тащат на буксире моторные лодки; на перекатах толкают шестами мужики, повыскакивавшие из лодок; пройдут плоты, а потом еще долго стоит над рекой, кружа голову, густой и сладкий сенной настой.

Вспомнил Сашка про плоты и вдруг понял: не сможет он жить иной жизнью, никуда ему отсюда не уехать. Не видеть родной реки, не дышать привычным воздухом — все равно, что вынуть из него живую душу и вставить заместо нее другую, пластмассовую, как, говорят, вставляют пластмассовые клапаны в сердце. И никакие большие деньги уже не помогут ему.

Так как же тогда быть? Что делать?

На ум внезапно приходит трудное решение: оставить семгу в покое, забыть про нее, как будто ее и вовсе не существует в реке. Не обручен же он с ней. Да и не впрок она ему: или на пропой, как в случае с вертолетчиками, или совсем задарма. Краденое есть краденое...

То-то бы удивился художник, узнав, в какую сторону направил он своими речами ход Сашкиных мыслей, а сам Сашка впервые за последние дни почувствовал себя легко и уверенно и уже радостно прикидывал в уме, как он после промысла перекатает вместе с Катей свою избенку, как пойдет к председательше... Если с ней по-серьезному, без шуточек да прибауточек, то не откажет в работе, баба добрая, да и Кате теткой приходится. Надо бы и с Дерябиным поговорить по душам. Все, мол, завязал, брат. Да не поверит. Ну, теперь-то пусть половит.

## IV

Спустя два дня гости отбывали.

Под берегом наготове стоял плот. Не тот «подводный», на котором они приплыли четыре дня назад, а другой, только что срубленный Сашкой из сухих еловых бревен. На толстых комлях зеленел свежий лапник — чтобы посидеть на сухом либо полежать. Тут же были пристроены рюкзаки, значительно огрузневшие по сравнению с их первоначальным видом, — гостеприимный хозяин не поскупился, отвалил на дорогу и сухарей, и сахару, и круп разных для варева.

На постройку плота ушло все утро. Теперь уже начинался день, пронзительно-ясный, свежий, какие бывают только на севере. Солнце отбеливало последние камни, потемневшие от ночной росы. Распрямлялись подсыхающие травинки.

Супруги стояли перед снаряженным плотом, поджидали хозяина, запропавшего где-то в лесу.

Наконец, появился и он, неся на вытянутых руках две большие, в крупинках соли и влажных от рассола рыбины.

— Есть во что-нибудь завернуть? — спросил он, отпыхиваясь.

— Это уж слишком, Саша! — запротестовала Вера.— Нам и того, что в рюкзаках, хватит.

— Ничего, съедим, — перебил Феликс. — Дорога до Москвы длинная. Давай сюда. Завернем во что-нибудь.

Взяв из Сашкиных рук рыбу, он взошел на плот, завернул ее в вытащенную из рюкзака измятую полиэтиленовую пленку.

— Под лапник ее, — посоветовал Сашка. — Рядом с водой лучше сохранится.

Феликс так и сделал, подтолкнул сверток под лапник,

потом спрыгнул на берег и подошел с протянутой рукой к Сашке.

— А нам вот тебя отблагодарить нечем. Может, возьмешь наш московский адресок и в гости приедешь? Или напишешь? Вдруг понадобится что: запасные части к мотору, лески, блесны, крючки? У нас этого добра не выбрать. Сразу вышлю.

Не найдя в карманах пустой бумажки, Феликс поднял с земли желтую щепку, срубленную с плота, и нацарапал на ней свой адрес.

— Спасибо, — сказал Сашка.

— Еще спасибо будешь говорить, — возмутился Феликс. — Лучше скажи, сколько мы тебе должны.

— За что?

— За харч, за приют.

— Нисколько. Гостями жили.

— Какие же гости? Разве те, что хуже татарина.

— Пустые разговоры, — отрезал Сашка и повернулся к Вере.

— Ну, милая девушка, прощай.

Вера спрятала правую руку за спину, приподнялась на цыпочках и, сама вся зардевшись и Сашку приведя в крайнее смущение, поцеловала его в щетинистый подбородок.

— Спасибо за все, — благодарно произнесла она. — И в самом деле приезжайте...

— Гора с горой лишь не сходятся, — пробормотал Сашка.

Вера и Феликс на плоту; Сашка забрел в воду, уперся руками в намокшие бревна и столкнул его с прибрежных камней. Плот сразу же подхватило течение. Поплыли вспять щепки, кусты, деревья. Поплыли, быстро уменьшаясь в размерах, разбросанные меж белых камней ржавые бочки, лодка, тент, кострище, врытые в землю

стол и скамейки. Уплывал, отдалялся сам Сашка, стоявший у воды с прощально поднятой рукой. Он еще узнавался по тельняшке, по взбитым, как стружка, волосам, но лица уже нельзя было распознать... Лишь одна Кукла никуда не уплывала — бежала по берегу за плотом.

Вера тоже махала и жалостливо думала: мы-то скоро будем среди друзей, а он до самой зимы один-одинешенек...

Река завернула вправо, и Сашка исчез из виду, скрылся за кустистым зеленым мысом. Потерялась и Кукла. Вера облегченно вздохнула, опустилась на лапник, и сразу же все то, чем она жила последние дни, ушло в прошлое, а настоящим стали мысли о доме, к которому теперь ее приближала каждая минута. Она представила, как залезет дома в горячую ванну, как переоденется во все чистое, легкое, красивое, как пойдет по подружкам, и на душе сразу стало легко, светло.

Феликс стоял в передней части плота, время от времени взмахивал шестом, не позволяя «судну» развернуться поперек течения, и предавался сладостным размышлениям о своей будущей картине. Он уже видел ее во всех подробностях: на переднем плане могучий исполин в обличии Сашки; он стоит во весь рост в длинной, похожей на пирогу, лодке, и остервенело борется с белотелой рыбиной; одна рука ушла глубоко под жабры, другая — сдавила хребет, лицо искажено первобытным азартом и... страхом, ибо он только что учуял близкую для себя опасность... А вдали, над черной кромкой леса, встает солнце, огромное, красное, словно раскаленная железная чашка; оно еще не светит и не греет, в воздухе крупинками держится ночной мрак, за приподнятый нос лодки прицепился клок тумана — ранний воровской час...

Художник наслаждался своим замыслом, смаковал подробности, и лишь одно его удручало — за все четыре

дня, прожитые у Сашки, он ни разу не заприметил, не засек на его лице того выражения, какое ему хотелось изобразить, — смешение еще не угасшей охотничьей страсти и внезапного животного страха перед тем, кто ему сейчас помешал. Через миг что-то произойдет! Схватка? Убийство? Кровавая трагедия? Ах, дорого бы дал Феликс, чтобы хоть разочек, хоть краешком глаза увидеть Сашкино лицо таким, каким оно смутно мерещилось в его сознании.

А без этого вся картина может не получиться... Гениальный Леонардо да Винчи обладал могучим воображением, но и он на целый год прервал работу над «Тайной вечерей» (почти завершенной, осталось лишь написать голову Иуды) по той же простой причине: никак не мог найти натуру — «злодейское лицо», соответствующее его замыслу. Художника торопили заказчики, он отвечал им: «Как только такое лицо мне встретится, я в один день закончу работу».

...«Социальная картина!» — продолжал Феликс раздумывать о своем, не подозревая, что замысел его картины воодушевлен казенной мыслью и что он резко расходится с его недавними толками о назначении искусства — поддерживать «маленького забитого» человека; обо всем этом он не подозревал и не думал. Но не думать о том, что Сашка предстанет в его картине не совсем в благовидной роли, он, конечно, не мог. Так ли расплачиваются порядочные люди за гостеприимство и радушие? Так ли благодарят за спасение?

Увлекающийся, неглубокий человек, лишенный к тому же определенных взглядов на жизнь, легко находит оправдание любым своим поступкам. Феликс недолго мучил себя размышлениями о порядочности. Выручили вспомнившиеся вдруг разговоры, которые не раз слышал в кругу своих друзей: истинное творчество аморально по

своей сути, ибо художник, изображая даже самых близких людей: отца своего, или мать, или жену, должен писать только правду, одну только правду, какой бы порой неприглядной она ни была; хотя бы даже и не близкие люди, чужие, — все равно разве не аморально выворачивать наружу их потаенные мысли и страсти?

«Что поделаешь? — вздохнул Феликс. — Чувству благодарности в нашей работе нет места».

А солнце между тем поднялось в самую высшую точку, разогрело воздух и насквозь просветило реку. Под плотом мелькали то желтый песок, то пестрая галька, то валуны, поросшие вытянутыми по течению изумрудными водорослями. Берега дымились зеленью. Река все время катилась под уклон, заметный даже простым глазом, и сухой легонький плот несся вместе с нею; на падучих перекатах он еще наддавал, и тогда его нос зарывался в воду, через бревна перекатывались пенистые валы, летели брызги, посвистывал в ушах ветер, и у путешественников от жуткого восторга замирало сердце и холодело под ложечкой.

К вечеру по сторонам прямо из воды поднялись высокие серые скалы — надо было задирать голову, чтобы увидеть их вершины, редко утыканные игрушечными елочками,— дно провалилось, скрылось в черных потемках, течение пало, наступила глухая тишина, нарушаемая по временам звонкими ударами капель, соскальзывающих с береговых камней. Вся река была в белых лепестках пены, принесенных с кипящих перекатов. У скал пена сбилась в большие пышные сугробы.

Потом и впереди встали скалы, заключили реку в каменное кольцо. За одной из скал укрылось солнце. Было страшновато и необыкновенно красиво — будто в вымершем средневековом городе. Плот почти не двигался. Путешественники взялись за шесты, лежавшие до того

без дела. Дна не было. Можно было только подгребаться. Через полчаса работы в скалах прорезалась узкая вертикальная щель, и через нее косо пала на цветущую воду желтенькая полоска света. С каждым взмахом шеста щель становилась все шире и шире, а свету все больше и больше — словно ворота какие раздвигались в совершенно иной солнечный мир. Впрочем, вспомнил Феликс, именно воротами и называл Сашка подобные места на Шугоре: Верхние ворота, Средние ворота, Нижние. Это, вероятно, были Верхние, потому что никакие другие пока на пути не встречались.

Наконец, гребцы миновали и сами ворота — узкий перехват между двумя одинаковыми розовато-серыми скалами с одинаково подмытыми боковинами внизу — и на них, как ливень, хлынул солнечный свет, а перед глазами снова открылись плоские зеленые берега, поросшие то травой, то кустами. За день они настолько свыклись со своей одинокостью, что, увидев вдруг на левом берегу, прямо под скалой, белую выцветшую палатку, дымок над костром, дюралевую лодку, над которой, склонясь, возились двое мужчин, от неожиданности даже шесты выронили из рук.

На скате палатки висели кожаная полевая сумка и старинный, в желто-медной оправе, морской бинокль. По этим предметам Феликс догадался, что повстречались они ни с кем иным, как с самим Дерябиным, хозяином реки. Он тут же вспомнил про семгу под лапником и ощутил во рту нехороший привкус. Черт подери, вот ведь не повезло!

Те двое, заприметив плот, распрямились.

Который же из них Дерябин? Конечно, тот, что стоит ближе к воде,— высокий, плечистый, в линялой гимнастерке и сбитой на затылок форменной фуражке. А другой, по уши перемазанный в машинном масле и

в болтающейся на узкой груди грязной майке, вероятно, всего-навсего моторист.

Плот, как на грех, тащило к берегу. Уже можно было разглядеть лицо Дерябина: широкоскулое, азиатское, с маленькими, далеко расставленными друг от друга глазами... Феликс стряхнул с себя оцепенение и снова взялся за шест, чтобы вытолкнуться на середину реки. Но тут Дерябин поднял руку и молча поманил его пальцем. И Феликс, вопреки своей воле, словно под гипнозом, стал покорно подталкиваться к берегу.

— Кто такие? — спросил Дерябин, когда плот шабаркнул о дно и остановился.

— Туристы,— торопливо ответил Феликс.

Дерябин ступил на плот, придавив его своей тяжестью к галечному дну.

— Умеючи сделан,— постучал он каблуком по бревнам; потом прошелся туда-сюда и словно бы невзначай зацепил носком сапога за лапник; из-под него забелел облепленный мелкой чешуей кусочек полиэтиленовой пленки.

— Да вы, никак, с рыбкой едете,— весело подмигнул он косящим глазом.— Я уже хотел посочувствовать: с верховий спускаетесь, и без добычи. О, даже семга! — подивился он, разворачивая пленку.— Ну и ну! А вы разве не слышали, что ловить семгу на нашей реке запрещено? Нет? Странно. Где же у вас спиннинг или дорожка?

— Никакого спиннинга у нас нет,— с вызовом произнес Феликс, решив, наконец, показать, что он тоже не лыком шит и умеет постоять за себя.— Да и вообще это черт знает что! Взойти на чужой плот, рыться в чужих вещах...

— Да! Я же не представился,— ухмыльнулся Дерябин и, расстегнув нагрудный карман на гимнастерке,

вытащил потертый бумажник, а из бумажника плоскую и зеленую, как околыш на его фуражке, книжечку. — Инспектор рыбнадзора... Прошу любить и жаловать.

— Все равно вы не имеете права,— повысил голос Феликс, отмахиваясь от книжечки.

— Права мои вы еще узнаете. Ну-ка, Федор,— кивнул Дерябин мотористу, откровенно наслаждавшемуся спектаклем, который сейчас разыгрывал его шеф.— Забери у них рыбу да принеси планшетку.

Худенький и, как оказалось вблизи, совсем еще молоденький моторист бегом бросился исполнять поручение.

— Рассчитываться когда будете? —приняв планшетку, снова заговорил Дерябин.— Сейчас или потом, через суд? По пятьдесят рублей за голову. Значит, всего сто рублей. Через суд подороже обойдется. Пошлину взыщут. Да и судебные издержки за ваш счет.

— Ничего я вам платить не буду. Ни сейчас, ни потом. Рыбу эту я не сам поймал. Купил.

— У кого же? — словно бы удивился Дерябин, хотя заранее предвидел подобный поворот в своем дознании.

Три дня назад, выслеживая в бинокль Сашку Гордеева, он разглядел на его стоянке какую-то женщину, а в лодке под перекатом незнакомого бородатого мужчину, занятого вместе с Сашкой рыбалкой. «Кто бы это могли быть? — задумался Дерябин.— Деревенские вверх не поднимались. Значит, кто-то спускается вниз. Геологи или туристы. Скорее всего туристы. Геологи не стали бы заниматься праздными делами. Через день-два туристы поплывут дальше и вполне возможно с рыбой. Не сами, конечно, наловят. Сашка оделит на дорогу. Или продаст. Вот тут-то он их и прищучит». Дерябин прежде никогда не проверял туристов, а этих решил во чтобы то ни стало

укараулить и обыскать. Впрочем, сами они ему не нужны — ни этот высокомерный с рыжей бороденкой парень, ни перепуганная девчонка, не соизволившая даже подняться с лапника.

— Так у кого же все-таки купили? — переспросил Дерябин.

— У одного рыбака.

— Как его зовут?

— Не спрашивали.

— Ну, тогда я сам вам скажу. Сашкой его зовут. Сашка Гордеев.

— Нет,— замотал головой Феликс.

— Нет, нет,— дернулась Вера.

— Вот вы себя и выдали,— покосился в ее сторону Дерябин.— Все время молчали, молчали, а когда я назвал Сашку, вдруг подали голос. Да еще с таким сердцем.

— Ну и что? — грубо спросила Вера и тут же покраснела от своей дерзости.

— Ладно, хватит играть в прятки. Открою уж вам все свои карты. Я точно знаю, что вы прожили на Сашкиной стоянке не меньше четырех дней. Самолично наблюдал. И рыбу вы нигде не могли взять, кроме как у него. Да и по разделке видно, что не сами поймали. И снастей у вас никаких. Вот вам мой последний сказ: или вы сейчас свидетельствуете против Сашки, рассказываете, за сколько брали семгу и где она у него хранится, или сами выкладываете штраф. Без этого не отпущу. Мое слово железное.

— Никаких свидетельств, никакого штрафа! — злобно выкрикнул Феликс.

— Достаньте документы и приготовьте деньги.

— Ничего у нас при себе нет — ни документов, ни денег.

— Хорошо-с. Хоть и не верю. В таком случае вас придется отвезти в деревню. Там — под замок, до выяснения личности.

— Послушайте! — взмолился Феликс.— Да это же произвол! Да это же... Знаете, с кем хоть имеете дело? Я — художник. Она — моя жена. Из Москвы приехали. Намучились в болотах. С голоду чуть не погибли. И все из-за того, чтобы запечатлеть ваши края на полотне. А вы с нами вон как — штраф, под замок... Сейчас сами убедитесь, что я не какой-нибудь с улицы, а художник, художник.

Феликс метнулся к клеенчатому пакету, суетливо раздергал намотанную вокруг него тесьму, и один за другим стал совать в руки Дерябина размалеванные листы.

— Вот, смотрите, смотрите! — бормотал он, вороша пакет. Потом вдруг осекся, побледнел, обмяк — вспомнил с ужасом, что на всех верхних листах был изображен один Сашка.

Дерябин, взволнованный удачей, тоже слегка побледнел широкими скулами. Наконец-то браконьер номер один в его руках!

Вот он во весь рост стоит в лодке, держит на весу поддетую за жабры большую белотелую рыбину... Рыбина написана резкими мазками, походит на семгу. Да это и есть семга, потому что другой такой большой рыбы в реке не водится. Вот Сашка рядом с раскрытой бочкой, у ног его в зеленой траве опять рыба, опять семга. Вот натюрморт с одной лишь рыбой — на досках лежат три вспоротые нежно-розовые изнутри семги, а рядом, в толстых жгутах, апельсиновыми дольками, такая же нежно-розовая и словно бы просвечивающая насквозь икра... Молодец художник, не хуже фотоаппарата сработал!

«Вот и конец тебе, Сашка»,— устало подумал Дерябин и вдруг поймал себя на том, что не чувствует к нему никакой вражды. Да ее и не было никогда. Был долг, была уязвленная инспекторская гордость. Семгу полавливал не один Сашка. Не брезговали ею и тихий Кузьма, и другие рыбаки. Но все они таились, помалкивали в тряпочку. Лишь Сашка один бахвалился в открытую: если, мол, я семужки не добуду, то бабоньки в престольный праздник и пирожка не откушают... Добахвалился... Теперь против этих свидетельств никуда не попрешь.

— Я их должен конфисковать,— произнес он вслух.

— Не отдам! — крикнул художник.

— Я могу их и не забирать, если вы сейчас сядете со мной в лодку, поедете к Сашке и там будете делать все, что я велю.

— Никуда я с вами не поеду!

— Не горячитесь, молодой человек. Вы художник. Такой же государственный человек, как и я. И делаем мы одно с вами дело — оберегаем общество от раззора и вредомыслия, вы одним способом, я — другим, несколько погрубее. Так надо ли артачиться?

Феликс, не слушая инспектора, лихорадочно соображал: что делать, как выкручиваться, как спасать этюды, без которых не будет никакой картины. Неужели придется ехать к Сашке и свидетельствовать против него? Нет, нет! После всего, что он сделал для них, предать?.. Ах, какая дурацкая история! Но Сашка все равно теперь пропал — поедет Феликс или не поедет, будет спасать свои этюды или не будет. Но если он поедет, то уж, конечно, увидит на Сашкином лице то выражение, какое ему нужно для своей картины. И не придется тогда, как Леонардо да Винчи, целый год искать новую натуру... Подленькая мысль! Но почему же подленькая? Творчество аморально...

Колебание, смятение, растерянность, отразившиеся на лице Феликса, были замечены одновременно и Верой и Дерябиным.

— Феликс, Феликс! — вскочив с лапника, закричала Вера.— Не бойся его. Он ничего нам не сделает.

Дерябин ухватил Феликса за руку, чуть повыше локтя, и подтолкнул его с плота на берег, говоря ласково:

— Так-то лучше будет. Мы с вами делаем одно дело...

— Да куда же вы его повели? — рванулась следом Вера.

— Вы, девушка, посидите тут,— остановил ее Дерябин.— Мы его вам скоро вернем... Федор, быстро в лодку ружье, бинокль и заводи мотор.

— Феликс, понимаешь ли ты, на что они тебя толкают?

— Верочка, успокойся,— Феликс высвободил локоть из дерябинской руки.— Так, наверно, мы скорее выпутаемся из этой истории. Да и мне надо...

— Что тебе надо? — широко раскрыв глаза, изумилась Вера; Дерябин тоже покосился на него удивленно.

— Это я тебе потом объясню.

— Потом не потребуется никаких объяснений. Если сейчас сядешь в лодку, ты меня больше никогда не увидишь.

— Не дури,— по-хозяйски строго сказал Феликс.— Увяжи мои работы и жди здесь.

Моторист и Дерябин были в лодке. Едва Феликс перекинул через борт ногу, как она, круто взревев, рванула задом от берега. На середине реки моторист переключил ход, и лодка уже носом полетела в узкий, закрытый тенью перехват между скалами. В следующий миг она скрылась за ними.

— Подлец, подонок! — глотая слезы, кричала Вера, но ее уже никто не мог услышать.

По бревнам прокатилась волна, разведенная полуглиссером, смыла несколько этюдов, но Вера даже и не подумала их ловить. Она соскочила в воду и уперлась руками в бревна. Плот подался. Тогда она снова запрыгнула на него, схватила шест и изо всех сил стала толкаться — быстрее, быстрее, чтобы никто и никогда не догнал ее.

# ПАНТЫ

## РАССКАЗ

*Памяти друга*
*Гриши Бабакова*

Летели над Саянами, вернее, сквозь Саяны, потому что четырехместный ЯК-18 не добирал до гольцов — упестренных снежными беляками пустынных вершин, а, вихляясь подобно слаломисту, тащился перевалами, распадами, а то и совсем узкими ущельями.

Андрей сидел рядом с летчиком, по правую руку. Сзади были еще два места, но они пустовали.

...В полдень он прилетел в Абакан. И тут выяснилось, что дальше, в мараловодческий совхоз, куда он рвался с яростным нетерпением, самолеты отправляются лишь от случая к случаю — когда в порту набирается полный комплект пассажиров. Сегодня же вообще никого не было, ни одного человечка — как назло! Андрей сбился с ног, ища средства выбраться из Абакана: то кидался на тракт в надежде поймать попутную машину, то снова возвращался на аэродром, ходил по пятам за начальником порта, упрашивал, настаивал, канючил, и к исходу дня тот, наконец, внял его мольбам и согласился организовать в совхоз спецрейс, с условием, разумеется, что надоедливый пассажир полностью оплатит его из своего кармана. Андрей это воспринял как божью милость.

В маленьком самолете раскачивало, будто в люльке. Откуда-то спереди прямо в щеку била тонкая лезвистая

струя воздуха. Щека занемела от холода. Кабину который раз накрывало тенью — опять летели ущельем. Правое крыло едва не задевало камней, закоростевших в серых лишайниках. Почудилась вдруг на одном из камней треугольная головка ящерицы, приподнявшейся на растопыренных передних лапках. «До чего же медленно ползем, коли ящерицу можно разглядеть, — все еще потрепывало Андрея нетерпение, но он тут же попытался унять свое возбуждение. — Откуда на такой высоте и в таком холоде ящерица? И не ящерица то вовсе, а чешуйки лишайника, покоробленные ветром».

Кабину снова окатило солнцем — теперь внизу был перевал. Он весь полыхал огненными маками. Цвет их был настолько интенсивным, что подавлял все другие краски — и зелень, и синь, и возможную пестроту. И по этим пламенеющим макам бесшумно и вкрадчиво тащилась скособоченная тень самолета: одно крыло — длинное и заостренное, точно шило, другое — куцый, тупой обрубок.

«Ох, и медленно!» — глядя на тень, вздыхал Андрей и трогал нагрудный карман. Письмо было там.

«Милый Андрюша! Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе! За три года ни разу не вспомнил о моем существовании, не написал ни строчки — не гора ли ты, у которой каменное сердце?

Я — храбрее, не только вот пишу, но и почти приехала к тебе. Да, да, не удивляйся, я тут, рядом, в Саянском мараловодческом совхозе. Приехала весной дособрать материалы для своей диссертации, а в совхозе не оказалось зоотехника, ну и застряла. Разумеется, ненадолго. Осенью защита и прочее, к тому же зимовать не в чем — налегке, без теплых вещей прилетела.

А как ты живешь? Кое-что я знаю. Во-первых, чита-

ла в «Трудах» твою прекрасную работу по сибирским бобрам, в институте у нас она всем понравилась, говорят, можно дотянуть до диссертации. Во-вторых... Это уже сюрприз для меня! И очень приятный! Вчера я зашла в общежитие к своим рабочим, чтобы попросить что-нибудь почитать. Вечерами тут такая скучища — хоть волком вой! Передо мной навалили гору всякой чепухи, и я уже собиралась не солоно хлебавши уходить, как вдруг откуда-то подбросили еще одну книжонку — тощенькую, в зеленой бумажной обложке: «На таежных тропах». Узнаешь? Я рассмеялась: нашли, что предлагать! Про тайгу да про зверье в институте до чертиков надоело. Хотела было уже вежливо отказаться, как вдруг на глаза попала фамилия автора: Скорняков. Боже мой, уж не наш ли это Андрюша?! Заглянула в справку в конце книжки... Скорняков Андрей Терентьевич. Ну, конечно же, это ты! У кого другого еще в наше время может быть такое почтенное, такое торжественное отчество?

Прочитала залпом! Неужели все так и было, когда тебя чуть не задрал медведь? Бедный Андрюша! Будь, пожалуйста, осторожней, береги себя.

Совхозный поселок стоит у тракта. По нему день и ночь идут машины — в Туву и обратно, много разных машин и разных людей, и, представляешь, один шофер из окна кабины влюбился в меня, через каждые три-четыре дня, как только проезжает мимо, одаривает цветами. Сначала это были подснежники, потом жарки, а сейчас — горные маки. Я пишу тебе, а они, эти маки, стоят на столе в перекаленной ноздреватой кринке — крупные, прохладные, алые, и мне почему-то ужасно грустно на них смотреть, может, потому грустно, что завтра они завянут, и я их вместе с прокисшей водой выплесну за окно. Вот так-то, Андрюша.

Случится командировка в эти края, загляни в совхоз, развей мою тоску-печаль, то бишь скуку волчью.

Жму твою мужественную руку.

*Марина».*

## II

Сколько помнит Андрей, в Марину всегда кто-нибудь был влюблен. Да и не по одному и не по двое, а целыми пачками. Придя впервые к ней в дом — на день рождения, он был буквально потрясен: за именинным столом, кроме самой Марины и ее наперсницы Тони Бугровой, сидели одни парни. Раз, два, три, четыре... восемнадцать парней, и все незнакомые, все из чужих институтов, и все, точно по команде, крутили вслед за Мариной своими умащенными пробористыми головами. Да и Тоня Бугрова, широкоскулая, некрасивая, прозванная в институте Чапаем за то, что вечно ходила в перетянутой ремнем гимнастерке, суконной юбке, сапогах, с коричневой офицерской сумкой через плечо, пожалуй, больше походила на парня, чем на девушку. Она и в гости явилась в неизменном своем облачении. В чем-то другом ее невозможно было и представить.

Марина тоже не была совершенною красавицей, но неожиданный контраст белокурых, почти соломенных волос со смуглою кожей и коричневыми глазами привлекал внимание. Брала же она своим нравом — живым, дерзким, ребячливым. Ей ничего не столо снять под дождем туфли и шлепать по лужам прямо в чулках. Или на комсомольском собрании затолкать два пальца в рот и освистать какого-нибудь путаного оратора. Или разжечь любопытство и увести с занятий полкурса в кино. Каждый день — новые коленца. Сокурсницы сторонились ее, считали притворой и ломакой,

зато парни единодушно возвели в сан самой лучшей девчонки института.

Эта молва прибавляла ей новых поклонников. Среди них был и Андрей. Про себя он наивно полагал, что выбор сделал вполне самостоятельно, хотя какая в девятнадцать лет могла быть самостоятельность: что нажужжат в уши приятели, то и глаза видят.

Позже, когда они сблизились, Андрей с удивлением обнаружил за Марининой ребячливостью бездну порядка и рационализма: боже упаси, чтобы она не записала лекцию, коли уж на ней присутствует, в пору экзаменов позабывала о всяких развлечениях, от корки до корки долбила учебники, не признавала никаких авось, на которые редкий студент не надеется.

Время от времени кто-нибудь из тех восемнадцати, что были на дне рождения, объяснялся ей в своих чувствах, и она умела дело повернуть так, что обожатель, ровным счетом не получив ничего, все-таки не терял надежд и надолго еще оставался при ней.

— Зачем ты ему морочишь голову? — бесился от ревности Андрей. — Почему не прогонишь? Знаешь ведь — не нужен.

— Как раз ничего не знаю, — дурашливо смеялась Марина.

— Приберегаешь на всякий случай?

— Хотя бы,— не переставала она дразнить Андрея.— Надо во всех вас еще разобраться — кто какого сорта. Только недосуг. Может, самый-то лучший он и есть.

Эти сентенции о сортах, о том, чтобы разобраться, Андрей, конечно, всерьез не воспринимал, относил их на счет игривого характера подруги, и очень быстро успокаивался — что с такою поделаешь?

...Теперь вот прибился к ней еще один простак — шофер с тракта. Цветы возит. Впрочем, это ему ничего

не стоит. На перевалах целые плантации маков. Остановит машину, напластает охапку — нате, пожалуйста. И не столько, может, женщине на радость, сколько себе — вон ведь какой предупредительный и щедрый. А разминутся их пути, ни разу и не вспомнит о ней!

С шофером легкий случай. Не то что с Андреем.

У Андрея же за все три года не было дня, чтобы он не думал о Марине... Возвращается из командировки, трясется на вагонной полке, а перед глазами она, смуглокожая, смеющаяся, увертливая... Или опалит вдруг мысль, что дома дожидается письмо либо телеграмма срочная, и в ней всего два слова: приезжай, люблю. С сердечным замиранием бредил он дальше — как сейчас же, сломя голову, бежит обратно на вокзал или в аэропорт, а билетов там нет, и вот он кого-то упрашивает, умаливает, то есть мысленно уже много раз пережил весь свой сегодняшний день. Совпадало даже то, что письмо пришло в его отсутствие.

...В свой город он приехал сегодня в пятом часу утра. На недавно омытой и еще не просохшей привокзальной площади — ни автобусов, ни такси. Стояла в отдалении закончившая работу рогатая поливальная машина — но какой в ней прок? Андрей снял рюкзак, поставил на асфальт и устроился на нем дожидаться транспортного часа.

Вдруг перед Андреем вырос широкогрудый здоровяк в мятом пиджаке на голом теле.

— Подбросить? Куда?

— На чем же это? — подивился Андрей и показал глазами на площадь, где по-прежнему, кроме рогатой поливальной машины с голубой цистерной, ничего не было.

— А вот на ней и подвезу, — кивнул здоровяк на машину. — Дело свое сделал, в гараж успеется.

— Мне через весь город.

— Рубль дадите — и через весь город прокачу.

Андрей взвалил на спину рюкзак и пошагал по лужам вслед за шофером.

В кабине сушилась распластанная на руле черная рубаха. Шофер скомкал ее и затолкал под сиденье.

Кабина в этой поливальной машине была непривычно высокой, а цельное округлое стекло — большим и чистым, и пустынные улицы, по которым они беспрепятственно летели, распахивались перед ними во всю ширь и даль.

Андрей уехал из города при снеге, при позднем апрельском отзимке; деревья тогда были нагими, земля пятнисто-грязной; а теперь и тополя, и клены, и липы стояли в тяжелой непроницаемой зелени, тротуары сине блестели, а там, где они были тускло-серыми от вчерашней пыли, копошились дворники с остроголовыми брандспойтами в руках. И то ли оттого, что Андрей сам не видел, как ушла здесь зима и как деревья эти постепенно одевались, или оттого, что на побережье Карского моря, откуда он возвращался, до самого последнего дня выпадали свои отзимки, в его сознании долгое командировочное время — два месяца с лишком — уплотнилось вдруг в одни короткие сутки, даже в одну ночь — будто вчера вечером отбыл и вот уже опять тут — и вся эта зелень, и тепло, и чистота улиц показались на миг нереальным фантастическим чудом.

Миновали центр с большими казенными домами, проехали длинную окраинную улицу, и справа потянулся плотный, в два теса, забор, за которым на возвышении, на склоне холма, стояли вразброс среди сосен белые здания: два жилых, одно учрежденческое и слепой, без окон, гараж — Сибирский филиал пушно-мехового института, где и работал Андрей. Выше по холму, за домами, де-

ревья сплачивались, и начинался настоящий сосновый бор. Андрей не в первый раз порадовался, что живет именно здесь, а не где-нибудь в другом месте: почти в лесу, почти в деревне и в то же время в городе, ибо стоит сесть на автобус или троллейбус и через двадцать минут — в центре.

Окна в его квартире на втором этаже были распахнуты настежь. Пузырились внутрь белые занавески.

Андрей знал, что сейчас там Настенька — дочка его коллеги Николая Ивановича. Нынче она заканчивала десятилетку, и Андрей, уезжая в командировку, предложил ей заниматься в его квартире. Школьные экзамены она должна сдать, и теперь вволю спит при раскрытых окнах. А может, встала ни свет ни заря и готовится к приемным в институт?

Калитка в заборе была заперта изнутри на палку. На уровне глаз чернела кнопка звонка. Можно было нажать, разбудить институтскую уборщицу, и та бы тотчас отворила, но Андрей пожалел старушку и решил перелезть через забор. После командировки, где в основном приходилось заниматься физической работой, это было плевым делом. Через минуту он шагал мимо цветочных клумб к своему подъезду.

Он был еще на середине лестницы, когда в его квартире вдруг скрипнула дверь, и на пороге встала Настенька. И Андрей в это раннее утро должен был второй раз пережить впечатление чуда. Два месяца назад Настенька была угловатой девчонкой, заморенной школьницей, а теперь перед ним стояла налившаяся неведомо какими соками барышня, девушка, невеста, стояла в расшитом по груди полотняном сарафане, босоногая; по правой обнаженной руке струились длинные густые волосы, раньше бы она застеснялась своей распущенной косы, а сейчас и бровью не повела, словно хвасталась ею. И веснушки

между глаз куда-то исчезли. Опять время для Андрея немыслимо уплотнилось, опять показалось, что это волшебное превращение произошло всего лишь за какие-то сутки, за одну ночь — разве это не было чудом?

— Я по шагам вас узнала, — произнесла Настенька новым, уверенным голосом, и тугое зарумянившееся лицо ее озарилось радостной улыбкой.

— Зато я тебя с трудом узнаю, — не скрывая изумления, сказал Андрей и вошел в квартиру.

— Да и я вас только по шагам определила, — смело ответила она.

— Ага! На медведя похож? Борода? — засмеялся Андрей, скидывая в коридоре рюкзак.

— Немножко похожи.

— Ну, мы сейчас с ней расправимся. Чтобы не пугать школьниц. А пока я бреюсь да моюсь, ты свари кофе. Потом и подарки покажу. Угадай, что я тебе привез. Не угадаешь! Ладно, томить не стану. Клык белого медведя! Каково? А? Северяне носят его на себе, как талисман, гарантирующий успех в любом деле. Вденешь в него цепочку, повесишь на грудь и — не страшен никакой экзамен. И еще... Может, все-таки угадаешь? Нет?.. Голубого песца. Две шкурки. Такой воротник сделаешь — все твои будущие сокурсницы ахнут.

— Это уже лишнее.

— Как раз не лишнее. На мой взгляд, песец теперь нужнее, чем даже талисман.

— В кабинете на столе вся ваша почта, — переводя разговор на другое, сказала Настенька.

— Потом, потом. Сейчас бриться, мыться и пить кофе.

Однако, сказав это, Андрей все-таки протопал в сапогах в кабинет. Там царили чистота и порядок, чего при нем никогда не было. Книги обтерты, на столе — ни пы-

линки. С одного края в стопке — газеты, с другого — письма. На подоконнике — Настенькины учебники и тетрадки. Андрей взял пачку писем и, не вскрывая, перебрал их одно за другим: из издательства, от отца, от коллег-однокашников — привычные адресаты.

— Вот еще одно письмо, — сказала Настенька, протягивая конверт с красно-голубой каемкой авиапочты, который почему-то лежал не в пачке, а отдельно, на книжной полке, причем Настенька, когда подавала конверт, еще больше покраснела, отвела взгляд в сторону.

Андрей глянул на почерк, признал, и у него перехватило дыхание. Торопливо надорвал конверт, отхватил кусочек от самого письма, вынул исписанный с обеих сторон листок, заглянул в начало, в конец, где его снова обожгло подписью, и жадно, лихорадочно, как голодный, набросился на текст.

Когда он оторвался от письма и поднял глаза, Настенька стояла в дверях, с учебниками и тетрадками под мышкой, и лицо у нее было бледное, а серые глаза потемнели от недетской печали.

— Куда же ты, Настенька? — нерешительно спросил Андрей. — Сейчас кофе будем пить.

— Не хочу я кофе, — отчеканивая каждое слово, ответила Настенька. — И подарков мне ваших не надо. Ни талисманов, ни песцов. И еще я вам запрещаю разговаривать со мной покровительственным тоном — будто с девочкой. Я уже не девочка. Я взрослая. И все понимаю. И никакая я вам не Настенька, а Анастасия или, на худой конец, Настя. Вот!

И, круто повернувшись, выскочила из кабинета. Стукнула входная дверь. Прошлепали босые ноги по лестнице.

«С чего это она вдруг? — смущенно подумал Андрей, в глубине души догадываясь о причинах столь странного поведения Настеньки, но не желая теперь о них

размышлять. — Потом разберусь», — решил он и сразу же позабыл о девушке.

Начался переполох, какой он тоже не раз переживал в своих грезах. Сначала бросился в ванную, потом в комнату, к шкафу, вытряхнул на кровать костюм, рубашку, ботинки, затем снова в ванную — снимать рыжую мужицкую бороду.

После командировки он всегда с особым удовольствием влезал в свежую сорочку, неторопливо облекался в отглаженный костюм, обувался в легкие ботинки, но сейчас, в спешке, было не до сибаритских наслаждений. Кое-как переоделся, сунул в карман документы, деньги, под мышку плащ и — на улицу, даже дверь на ключ не успел запереть, ну да ничего, в доме все свои, и, может, Настенька еще сменит гнев на милость и закроет.

## III

Хотя тогда, на именинах, Андрей и упал духом, насчитав около Марины восемнадцать незнакомых парней, однако не ретировался, не отошел в сторонку, остался в ее свите, и в конце концов случилось так, что счастье улыбнулось не кому-то другому, а именно Андрею. Возможно, ему помогло то обстоятельство, что все его главные соперники учились в других вузах, редко могли видеть Марину; он же каждый божий день торчал перед ее глазами.

Потом наступил день, который должен был сделать победу Андрея полной и окончательной. День распределения.

Будущие охотоведы, зоотехники, каракулеводы, биологи толклись перед обитой черным дерматином дверью деканата, и у большинства в глазах затаилась тревога, ожидание, страх — что-то будет, куда-то направят? Направляли в основном подальше от Москвы, почти на край

света, в какие-то безвестные деревушки, где на окраинах ютились или охотничье хозяйство, или ферма черно-бурых лисиц, насквозь пропахшая бурдой, которую день и ночь варили для прожорливых зверьков. Кое-кто в свое время поступил в этот безвестный институт лишь потому, что в него легче было попасть, нежели в иные громкие вузы, и для них распределение было чем-то вроде страшного суда.

День стоял щемяще-пасмурный. За раскрытыми в коридорах окнами кропил мелкий дождик. Люди на улицах прятались под разноцветными зонтами. Хотя на газонах уже пробилась трава и на деревьях зазеленел молодой лист, пахло почему-то одной прошлогодней прелью.

Через каждые пять-шесть минут из-за черной двери выскакивал очередной распределенец и с ошалелыми глазами бежал к большой карте державы, предусмотрительно вывешанной тут же в коридоре.

Пока всех, кто побывал за дверью, направляли в Сибирь. Уже около десятка коренных и некоренных москвичей превратились в сибиряков. Прежде многие из них едва были знакомы, едва при встречах кивали друг другу головами, теперь же заделались такими друзьями — водой не разольешь. Обособившись от остальных, ходили в обнимку, говорили о чем-то своем, недоступном для непосвященных.

— Смотрите, смотрите! — в нервном возбуждении кричала Чапай, размахивая возле карты своей армейской сумкой. — Мы же все будем рядом: Томск, Новосибирск, Барнаул, Абакан. И пяти сантиметров нет между ними!

— А ты взгляни-ка на масштаб, — оборвал ее скептический голос.

— В одном сантиметре сто километров. Ну и что? Не велико расстояние. Можно ездить в гости друг к другу.

Ближайший праздник у нас какой? Седьмое ноября. Приглашаю вас всех к себе. Ребята, слышите? Чтоб седьмого ноября быть всем у меня в Барнауле!

Андрей и Марина стояли у раскрытого окна, поодаль от гомонившей толпы, спинами к мокрой улице. Если еще недавно на людях Марина старалась держать Андрея подальше от себя, как бы стесняясь своей близости с ним, то сейчас, у окна, она напротив демонстрировала всем эту близость: то прижималась смуглой щекой к его плечу, то брала в свои сухие маленькие ладошки его большую руку... Однако на все ее ухищрения, кажется, никто, кроме Андрея, и не обращал внимания — не до них было, а если кто и замечал что-нибудь, то воспринимал это как должное: их отношения давно уже не были секретом.

Андрея же ее ласковость волновала до того, что туманилось в глазах. «Неужели это правда? — не веря своему счастью, думал он. — Неужели она уедет со мной — на край земли, в бревенчатую избу?»

Марина, словно подслушав его сомнения, еще теснее прижалась к нему и прошептала:

— Кого бы первого не вызвали, зайдем вместе.

Андрей кивнул головой.

Само распределение его нисколько не тревожило. Он был заранее согласен на все, что бы ему ни предложили. Сибирь или Восток. Сахалин — еще лучше, иначе он вряд ли когда-нибудь увидит этот далекий остров. Неплохо бы попасть и на Печору, в свою деревню, где на первых порах ему бы здорово помог отец, охотник и следопыт. Но если не попадет туда — не беда, значит, попадет в другое место, где тоже будут и реки, и леса, и горы, и милые его сердцу охотные люди. Без рек, гор, лесов он не представлял свою жизнь.

В его памяти хранилось давнее воспоминание, в ко-

тором, как в семени, была заложена вся суть его будущей работы.

Где-то гремела война. Андрею было лет пять или шесть. В их подтаежную деревню пришли разбродным строем — кто с чемоданом в руках, кто с котомкой на спине — пожилые, в зеленых поношенных бушлатах солдаты. Услышалось новое слово — трудармия. Сразу же почему-то запомнился один трудармеец, телесно-тяжелый, огромный, краснолицый. Вечером мальчик снова увидел его на улице. Тот стоял с двумя солдатами-заморышами и, оглаживая выпяченную грудь, похвалялся густым басом:

— Ни черта со мной не сделается! Переживу. Как бык здоров.

Для убедительности он расстегнул бушлат, левой рукой задрал вместе с гимнастеркой грязную исподнюю рубаху... «Вот это да! — ахнул про себя Андрей. — Силушки-то сколько!»

Трудармейцы в одну неделю поставили за околицей казармы, огородили их высоким желто-тесовым забором, и не стало их видно в деревне: раным-рано уйдут строем на лесосеку, обратно — затемно. Если кто из солдат появится на улице средь бела дня, все знают — больной, из лазарета.

Шестилетний Андрюха с утра до вечера пропадал на реке, ловил окуней, чебаков, ершишек, подкармливал оставшуюся без отца семью, иной раз, при удаче, — и соседей, у которых главные кормильцы тоже ушли на войну.

Сидит он однажды на бережку помахивает самодельной удочкой (вместо удилища — тупая палка, леска нитяная, крючок выгнут из гвоздика, поплавок вырезан из сосновой коры) и видит, как неподалеку, на коряге, пристраивается худющий длинный солдат, тоже разматы-

вает удочку — какую удочку! — гибкую, бамбуковую, с волосяной леской, настоящим фабричным крючком, с красивым оранжево-белым поплавком из гусиного пера.

Андрюха искоса поглядывает на солдата, чудится в нем что-то знакомое. Неужто это тот, здоровый, краснолицый, который несколько месяцев назад похвалялся своей телесной мощью? Тот, тот! — узнает потрясенный Андрюха. Но словно кто обглодал его: худ, ломок, одряблевшая кожа повисла на лице иссиня-бурыми мешками.

Андрюха своей тупой палкой все вытаскивает и вытаскивает — то окунька, то чебачишку, илистый песок вокруг него весь усыпан пестрыми рыбками, одни уже подсохли на солнце, скрючились, другие еще живы, трепыхаются, водят жабрами, подпрыгивают. А у солдата на его фабричный крючок ни разу даже не клюнуло. Он сполз с коряги, придвинулся поближе к Андрюхе. Теперь поплавки их покачиваются совсем рядом: грубо-шершавый, неуклюжий откорок и тоненькое оранжево-белое перо. Но сосновый откорок беспрерывно дергается, занывает вглубь, а перо и не пошевелится. Андрюха постарому все вытаскивал рыбешку, а солдат, как воткнул в песок удилище, так ни разу больше до него не дотронулся. Сидел, понуро опустив голову, смотрел равнодушно на мутную печорскую воду. Наконец, вытащил удилище, вяло смотал леску, со стоном распрямился и протянул снасть Андрюхе.

— На, рыбачь, раз у тебя получается, — и голос теперь у него был другой, надтреснутый.

Андрюха взял протянутую удочку. Но бесценный дар не доставил ему никакой радости.

— Спасибо, дяденька, — сдавленно пробормотал он.

— Не дашь ли в обмен немножко рыбки?

— Да хоть все заберите! — воспрянул Андрюха: те-

перь он мог деревенским объяснить, откуда у него взялась такая прекрасная удочка — выменял на рыбу.

На следующий день солдата на берегу не было. Андрюха ловил новой удочкой. С фабричного крючка рыба почти не срывалась. Когда он отрыбачил, собрал в холщовую сумку улов, то направился не домой, а к лагерю. Зачем — он еще сам не знал. У проходной, за воротами, он увидел «своего» солдата. Тот как бы ждал его. С ним были еще два солдата, такие же пожилые, с седой щетиной на запавших щеках. Андрюха передал им рыбу.

Теперь мальчик каждый день вставал вместе с солнышком и, будто на срочную работу, торопился к реке.

Да это и была работа. Пусть веселая, необременительная, похожая на игру, но она внушала Андрюхе неизведанное прежде чувство сопричастности всем трудовым людям державы — и тем, кто в поте лица пахал землю или варил сталь на оружие, и тем, кто выполнял главную работу времени — бил врага. Близ осени, придя к проходной, Андрюха не увидел солдата, хотя приятели его были на месте. Один из них хмуро молвил:

— Помер Никифорович-то...

...Тогда Андрей как бы не доделал свою работу, не спас солдата. Теперь, после долгого перерыва, он снова возвращался к ней, мечтая положить всю свою жизнь на то, чтобы никогда в русских реках не переводились рыбы, в лесах — звери и птицы. Для Андрея, в отличие от некоторых его сокурсников, самые торжественные слова о природе никогда не были пустым звуком. Он по опыту знал, что она не только украшает жизнь, но и кормит, поит, одевает человека. И еще знал, что будущая работа никогда не потеряет для него своего высокого смысла. Этой убежденностью он в какой-то мере был обязан давнему воспоминанию детства.

...Андрей и Марина все еще стояли у окна, когда к ним, протиснувшись сквозь неутихавшую толпу выпускников, подошла деловито-сухопарая женщина в черном костюме — секретарша ректора. Кивнув Марине, как старой знакомой, она спросила у Андрея:

— Скорняков?

— Да.

— Вас просит зайти ректор.

Марину это приглашение взволновало почему-то даже больше, чем Андрея. Она напутствовала его:

— Иди, иди. Будь умницей. Я подожду здесь.

В приемной ректора, где деловитая секретарша уже заняла свое место за пишущей машинкой, Андрей носом к носу столкнулся с Марининым отцом, Михаилом Дмитриевичем, читавшим в институте лекции по лесоводству. Тот, как всегда, был в шелковой косоворотке, перетянутой узорчатым пояском с кистями, свешивающимися одна над другой из-под пиджака; в правой руке держал большой «ученый» портфель, а левой рассеянно и словно бы сконфуженно теребил ухоженную чеховскую бородку. За свой несовременный облик да еще за то, что каждое лето отправлялся в какую-нибудь таежную экспедицию, студенты звали его за глаза «народником».

Несмотря на разницу в возрасте, с Андреем они были друзьями или почти друзьями и обязаны этим были не столько Марине, сколько общей страсти к охоте. Но и на ухаживания Андрея за его дочерью он тоже смотрел более чем благосклонно. Бывало, после вечерней или утренней зорьки выберутся из своих скрадков, сойдутся у костерка, выпьют по рюмочке для обогрева, и Михаил Дмитриевич, как бы забывшись, невзначай, повеличает его зятьком, и этот зятек тогда не знает, куда деть себя от радостного смущения,

Столкнувшись с Андреем, Михаил Дмитриевич еще больше сконфузился и, не отнимая от бороды руки, пробормотал:

— А, это ты?

— Я, — подтвердил Андрей.

— Ну, как там у вас? Еще не распределили? — машинально задавал он вопросы и глядел в сторону, будто встреча тяготила его.

— Нет еще. Вот к ректору зачем-то вызвали.

— Ну, иди, иди, — теми же словами, что Марина, понукнул он Андрея и торопливо пошел прочь.

«Что бы все это значило?» — наморщил лоб Андрей и, не найдя ответа, толкнул дверь.

Ректор лет десять назад сам сидел на студенческой скамье. Он не забыл еще этого и студентам не давал забывать: рзговаривал с ними насмешливо-демократичным тоном, как разговаривает, скажем, пятикурсник с первокурсником.

Он жестом пригласил Андрея сесть и, оглядев его с добродушной улыбкой, произнес:

— Сейчас тут у меня сидел Михаил Дмитриевич... Уверяет, что вы — необыкновенный талант, самородок, что институт много потеряет, если выпустит вас из своих стен, в аспирантуре не оставит. Вот я и позвал вас, чтобы посоветоваться, так ли это?

Кровь прихлынула к лицу Андрея. Только теперь понял он, в чем дело: отчего так взволнована была Марина, почему конфузился, прятал глаза ее отец.

— Если вы подтвердите, что это так, — продолжал ректор все тем же насмешливо-демократичным тоном, — то можно будет и оставить. Разумеется, в порядке общего конкурса. Я позвоню в комиссию, — он потянулся рукой к телефону.

— Не надо, — остановил Андрей.

— Раздумали?

— И не собирался.

— Вот как! — ректор надвинулся на стол, в упор уставился на Андрея, и в его черных проницательных глазах уже не было насмешки. — Где бы вы хотели работать?

— На своем месте. В лесу где-нибудь.

— Часом, уж не охотник ли?

— Охотник.

— Наверно, вместе с Михаилом Дмитриевичем постреливали?

— Было дело.

— Ну, тогда все понятно,— расхохотался ректор, откидываясь на спинку кресла.— Напарника он себе еще найдет. В лесу нам тоже нужны талантливые парни. Наша наука делается не здесь, а там. В добрый час, Скорняков.

«Почему же ты тогда здесь?» — чуть не сорвалось с языка у Андрея.

— В добрый час, — повторил ректор, давая понять, что разговор окончен.

Людей в коридоре нисколько не убыло. Те, кто получил направление, тоже торчали здесь: удерживало любопытство — куда других пошлют? Андрей воротился вовремя. Вызывали как раз Марину. Она схватила его за руку, увлекла за собой, спрашивая на ходу:

— Что-нибудь предлагали?

Андрей смолчал.

Посредине квадратной комнаты стоял длинный стол, покрытый мягким зеленым сукном; за ним сидели члены комиссии: парторг, проректор, преподаватели — люди все знакомые, кроме одного, с шаровидной блестящей головой, в очках, сквозь которые светлые глаза его казались большими и страшноватыми. Этот был из мини-

стерства. Он и председательствовал в комиссии. Кто-то настороженно спросил:

— Почему двое?

— Мы хотим распределиться в одно место,— с вызовом заявила Марина.

Члены комиссии, догадавшись, в чем дело, одобрительно закивали головами, заулыбались. Лишь на председательствующего Маринино заявление не произвело никакого впечатления. Он уткнулся в разложенный перед ним лист бумаги, похожий на платежную ведомость, и недовольно осведомился:

— А у юноши как фамилия?

Андрей назвался. Председательствующий, поводив над ведомостью головой, снова спросил:

— Как вас понимать? Свидетельство о браке принесли?

— Нет,— потеряла вдруг уверенность Марина.

— Тогда ваша просьба не понятна. Вряд ли мы ее сможем удовлетворить. На девушку есть заявка в аспирантуру из института. А Скорнякова вот тут у нас намечено послать в К.,— он назвал далекий сибирский город.— Впрочем, там еще есть одно место. Если... Словом, решайте сами.

И другие за столом по примеру важного председателя вдруг стали деловитыми, озабоченными.

Андрей покосился на Марину — решать ведь, собственно, ей. Она стояла вся красная, пристыженная, гневная и, сцепив руки, ожесточенно ломала пальцы.

— Если вам надо подумать,— по-отечески мягко произнес председатель,— мы не возражаем. Пожалуйста, подумайте, погуляйте, а позже зайдете. Мы тут долго просидим.

— Нет, нет,— встрепенулась Марина, краска отлила от ее лица.— Я не возражаю.

— В аспирантуру? — словно бы удивился председатель.

— Да,— вызывающе подтвердила она.

Андрей вздрогнул. А за столом нагнули головы, спрятали лица, как бы застыдившись чего-то.

— В таком случае распишитесь...

Ведомость была подвинута на край стола. Марина обмакнула в чернильницу перо и вписала свою фамилию туда, куда указывал толстый короткий палец. Потом, опустив голову, вышла за дверь.

— Ну-с, а вы как? — донеслось до Андрея.

— Согласен и я.

В коридоре он сразу же попал в объятия «сибиряков». Его по-братски тормошили, мяли, хлопали по плечу, поддавали в бок, и сам он, несмотря на все свое смятение, чувствовал к ним теперь какую-то новую, почти родственную близость. Поверх голов он поискал глазами Марину. Ее нигде не было. Тогда он осторожно, чтобы не обидеть кого, выбрался из толпы, бросился к выходу; Чапай вслед ему прокричала, что все «сибиряки» вечером собираются у нее и чтобы они с Мариной тоже приходили.

На улице все еще сыпался теплый парной дождик. Мелкая листва на акациях отяжелела от капель. На асфальт выползли бледные дождевые черви. После затхлого институтского воздуха до головокружения остро пахло сырой землей.

Марина уходила в сторону автобусной остановки. Гневно хлопали за ее спиной полы расстегнутого плаща.

Андрей догнал ее, пошел рядом. Она даже головы не поворотила в его сторону.

— Марина,— робко позвал он.

Тогда она остановилась и трясущимися от бешенства губами проговорила:

— Ты зачем здесь? Кто тебя звал?

Андрей молчал, а Марина сыпала новыми вопросами:

— Как все это называется? То, что сейчас произошло?..

«Предательством»,— подумал про себя Андрей, но язык не повернулся произнести это тяжелое слово.

— Предательством! — выпалила Марина.

— Кто кого предал? — слабо улыбнулся Андрей, догадываясь, что виноватым, конечно, окажется он.

— Еще спрашивает! Зачем тебя вызывали к ректору? Чтобы предложить аспирантуру? Да? И ты взбрыкнул?

— Тебе не откажешь в проницательности.

— К чему тогда была вся болтовня о совместном будущем?

— Но я ведь и прежде говорил, что аспирантура не по мне. Даже если бы пошел в нее, то не через черный ход.

— Черным ходом ты называешь то, что тебя порекомендовал мой отец? Очень мило! Спасибо!

— А почему бы тебе не поехать со мной? — тихо спросил Андрей.

— Ха-ха-ха,— грубо рассмеялась Марина, словно он сморозил бог весть какую чепуху.

Неподалеку остановились две девочки-подростка и со жгучим любопытством, точно приобщаясь к некой страшной тайне, вслушивались в их перебранку. На Марину они поглядывали с явным обожанием, Андрея норовили сразить глазами. Конечно, права во всем она, эта симпатичная разгневанная женщина, виноват — мужчина. Что она с ним еще разговаривает? Плюнула бы и ушла!

Марина, в общем, так и поступила — ушла.

Она шагала, не разбирая луж, как бы ослепшая от отчаяния; Андрею же подумалось, что делает она это

специально для тех девчонок, а может, для него, но тут же устыдился своей мысли, повернулся и побрел обратно в институт.

Больше он ее не видел.

...Внизу среди темной лесной зелени открылся поселок — полтора десятка деревянных изб, похожих на детские кубики. Справа его обегала извилистая горная река, слева — такая же извилистая горная дорога, отличавшаяся от реки лишь плавностью своих поворотов да равномерной повсюду шириной.

Сразу же за дорогой начиналась зигзагообразная и, судя по длинной тени от нее, высокая изгородь. Она пересекала большую открытую поляну и исчезала в густом хвойном лесу.

На высвеченной солнцем поляне Андрей заприметил три серых непонятных пятна. Он вгляделся в них и распознал — маралы! Все трое лежали.

«Значит, прилетел»,— подумал он, и у него стеснилось дыхание.

## IV

Гнедой конь с черной гривой и с таким же черным хвостом все время баловался: то, изогнув шею, шел боком, то поднимался на дыбки. Впрочем, безо всяких коварных намерений. Марина понимала это и не пресекала его шалостей. А может, просто хотела порисоваться перед гостем своим умением сидеть в седле. Упершись каблуками белых босоножек в стремена и поворотив к Андрею радостное лицо, она с удовольствием говорила:

— Здорово, что приехал не когда-нибудь, а именно вчера. Увидишь самое интересное в нашей работе: съемку пантов. Если помнишь, снимают их каждый год только в дни, когда они уже закончили рост, но еще напол-

нены кровью. Такие панты обладают самыми целебными свойствами... Операция болезненная, но ничего не поделаешь...

Андрей ехал рядом на старой смирной лошади, тоже в седле, и не спускал с Марины глаз. У нее была новая прическа — светлая челка на лбу, чуть не до самых бровей, сзади длинный хвост, перехваченный у шеи белой ленточкой. Прежде волосы стриглись короче и зачесывались за уши. Из-за этой новой прически вначале Марина показалась ему сильно переменившейся, и лишь сегодня он разглядел, что с ней, в общем-то, ничего не сделалось. Все те же горячие коричневые глаза. Те же смуглые щеки. И те же неожиданные для ее тонкой фигуры крепкие сильные ноги. Сейчас они были обтянуты узкими серыми брюками и уверенно жались к лоснящимся от чистоты бокам гнедого. Вот такую он и любил когда-то. И сейчас любит. Ах, каким слюнтяем он был три года назад. Оскорбился, видите ли, что в аспирантуру его устраивал не кто-то другой — ее отец. Даже если и сам не захотел оставаться в аспирантуре, то это вовсе не значило, что он должен был потерять Марину. Надо было как-то убедить ее, настоять на своем. В конце концов, силой увезти. Так бы поступил настоящий мужчина. А он вел себя, как теленок. Ну, уж теперь без нее никуда...

Вчера при встрече Марина взяла его лицо в свои ладони, притянула близко к повлажневшим глазам и долго-долго разглядывала, поворачивая в разные стороны.

— Ни капельки не изменился!.. Консервируют вас, что ли, в Сибири?

Потом они ушли на берег реки.

Марина вела Андрея под руку, ласково и как бы несколько свысока расспрашивала про житье, работу и

вообще держала себя так, словно по-прежнему сохраняла над ним те особые права, какие дает женщине любовь мужчины. А разве не так было? Разве в мыслях своих он хоть раз лишал ее этих прав?

По всему берегу валялись безнадзорно длинные хариусные удочки — с крючками и лесками. Верно, нравы в поселке были простые.

Стемнело. В реке плескались хариусы, глухо постукивала по дну протаскиваемая быстрым течением галька.

Они пристроились на прогретом за день плоском камне. Утихнув, Марина куталась с руками в жакет. И в Андрее прорвалось — обнял ее за плечи, притянул к себе, и она рванулась ему навстречу. Лицо ее было солоновато от слез.

Близко в кустах что-то хрустнуло.

— Следят,— встрепенулась Марина и резко отстранила Андрея.— Делать им, дуракам, в поселке нечего. Выслеживают, чтобы посудачить.

Марина встала и, снова взяв Андрея под руку, повела обратно в поселок. Там в рабочем общежитии ему была приготовлена постель.

Так он вчера ей ничего и не сказал — что все три года ждал каждый день, измучился весь, что он, верно, из породы однолюбов и согласен теперь на все, только бы с ней. Может, она сама захочет приехать к нему, тогда незачем тянуть. Пусть сегодня же собирается, а завтра поутру они улетят. Сейчас он и скажет ей это.

— Марина...

— Подожди,— остановила она его и, привстав на стременах и заслонив ладонью глаза от солнца, засмотрелась вперед.

Они уже переехали асфальтовую дорогу и были на зеленой просторной поляне, по которой зигзагами тя-

нулась высокая — едва рукой достанешь — ограда, сложенная из толстых бурых бревен.

За оградой, куда смотрела Марина, бесшумно, как на немом экране, металось стадо маралов. Его преследовали четыре всадника на прекрасных беговых конях. В стаде были комолые самки и коронованные огромными ветвистыми рогами быки.

Андрей догадался, что всадники пытаются отделить рогачей от самок.

— Даже с этим не могут справиться,— с начальственной досадой сказала Марина.— Мне надо съездить к ним, а ты поезжай прямо к станку.

Она ударила каблуками босоножек в бока гнедого. Тот недовольно мотнул головой и пошел ровной нетряской рысью. За спиной всадницы надулась белая капроновая кофточка.

Андрей видел, как Марина подскакала к тяжелым воротам в ограде, как, не слезая с коня, открыла их, проехала внутрь. Гнедой, встревоженный близким присутствием зверей, начал кружиться: рвать узду, мешая Марине затворить ворота; наконец, это ей все-таки удалось, и, парусиня кофтой, она полетела дальше.

Андрей направил свою смирную лошадь, бесстрастно отмахивающуюся жестким хвостом от слепней, к почерневшей от времени деревянной постройке на столбах, похожей несколько на коновальный станок. Да это и был станок, только пантосъемный.

Солнце стояло еще низко над лесом, но уже было жарко. Трава сохла на корню, источала медвяные запахи. К ним примешивался запах хвои, навевавшийся от недалекого елового леса. С покоробившихся цветов кашки и жарков перепархивали яркие большекрылые бабочки. Жестяными голосами трещали кузнечики.

Андрей был счастлив. Сняв пиджак и повесив его на

луку седла, он следил за тем, что происходило за оградой. Всадники, наконец, отбили быков и загнали их в длинный, постепенно сужающийся коридор. Рогачи по этому коридору влетели в тесный пригончик, примыкавший к станку, и за ними тотчас захлопнулась дверь. Золотистые и гладкие бока их жарко ходили, сизые бархатистые рога торчали выше двухметровой изгороди.

Подскакала Марина. От быстрой езды лицо ее раскраснелось, на верхней губе блестели зернышки пота.

— Сейчас им надо дать отдохнуть, успокоиться,— пояснила она.— Тогда срезы меньше будут кровоточить.

А возле станка неизвестно откуда появились какие-то старички, старушки, болезненного вида мужчины и женщины. У всех в руках была какая-нибудь посуда: стеклянные банки, кружки, чашки. А маленькая усохшая старушка с выцветшими глазками держала в руках расписную деревянную плошку.

Старушка, несмотря на преклонные годы, была необыкновенно проворной: перескакивала с места на место, любопытничала, со всеми вступала в разговор. Заприметив Андрея, она подошла к нему и ласково спросила:

— Видать, не здешний?

— Не здешний, бабушка.

Обрадовавшись, что догадка ее подтвердилась, старушка принялась бойко рассказывать:

— В старые-то времена тут у каждого богатея свои маралы были. В конце июня у всех праздник — срезка пантов. Народу тьма-тьмущая собиралось. Все с плошками — горячей крови испить. Пользительна она больно. От всех болезней. Я с малолетства ее пью и вон какая проворная. Сами панты еще полезнее, но их в Китай отвозили... С большущими деньгами оттуда возвращались...

Словоохотливая старушка, возможно, продолжала бы свой рассказ, но ее оборвал Маринин голос:

— Пора начинать! — сказала Марина, обращаясь к рабочим, дымившим в сторонке самосадом.

Рабочие побросали окурки, замяли их каблуками, разошлись по своим местам.

Широкоскулый парень-хакас распахнул в пригончике ворота, не те, через которые загнали маралов, а другие — в станок, и перед напуганными маралами вдруг открылась зеленая, манящая, вся в солнечных пятнах даль, и один из них, покрупнее, отчаянно рванулся вперед — навстречу сладкой свободе.

Но морда марала тут же оказывается в ярме, сомкнувшемся вокруг его шеи, а сам он стиснут между двух наклонных щитов, обитых войлоком и парусиной, неверный пол уходит куда-то вниз, и, беспомощный, он повисает между этими щитами.

Марал дрожит, шелковистая кожа ходит текучей рябью. Его волнение передается и парню-хакасу и другому рабочему, пожилому и рослому, и они никак не могут прикрутить ремнями к ярму остромордую голову, украшенную могучей ветвью рогов.

Марал из последних сил напруживает шею, и ремни вылетают из рук рабочего. Рога со стуком ударяются о столб. Бархатная ворсистая кожа на них сбита. Из раны густо прет кровь. И на нее сразу же слетаются большие синие мухи.

— Неумехи! Такие панты испортили! Разогнать вас всех мало! — кричит Марина, и этот крик неприятно поражает Андрея: не видит она разве, что все волнуются.

— Исправимся, Марина Михайловна, — виновато улыбается хакас и, навалившись на шею марала, ласково треплет его дрожащей рукой. Другой рабочий,

изловчившись, наконец, накидывает ремень на основание рогов и приматывает голову к ярму.

— Ну, вот и умница, вот и хорошо, — любовно бормочет он, поднимает с земли пилу и примеривается к рогу, чуть повыше ремня.

Пила окрашивается в красное. Марал молча дрожит, тяжело дышит, в уголках его фиолетовых глаз собираются слезы.

Пант с мягким стуком падает в траву. Из пенька на голове упругим фонтанчиком бьет сверкающая на солнце кровь.

Проворная старушка первой подставляет под фонтанчик свою деревянную плошку, и ее муравленые стенки обрызгиваются красными росинками.

Падает в траву второй пант. Взвиваются еще фонтанчики крови. К ним тоже тянутся с посудой.

Хакас посыпает пеньки квасцами. Фонтанчики пресекаются, перестают бить, и кровь свертывается в коричневые лепешки.

Старушка, перекрестясь, подносит плошку ко рту, медленно пьет, и по ее сухому подбородку тянется загустевшая жилка крови.

Движения хакаса и старухи строго-торжественны, значительны, словно каждый из них творит некий языческий обряд. Да и остальные люди, сгрудившиеся возле станка, своими взволнованно-напряженными лицами и приглушенными голосами тоже походят на идолопоклонников.

Андрея от волнения и жалости к зверям прошиб пот.

Лишь одна Марина деловито-холодна, озабочена и как бы чем-то рассержена. Вот она кончиками пальцев ухватила в траве мертвый пант, подняла к лицу, критически прищурившись, оглядела со всех сторон и резко, так что даже кое-кто вздрогнул, сказала:

— Могли бы пойти первым сортом, а теперь за второй вряд ли примут.

Ее слова снова поражают Андрея. Что она такое говорит? До расценок, до выгоды ли в эту минуту, когда даже кадровые рабочие забыли о ней? Он вспомнил, что словечко «сорт» Марина некогда употребляла и по отношению к своим вздыхателям. Неужели это не шутка была, неужели она и к ним прицenивалась?

Праздничный солнечный день вдруг померк для Андрея. В душе возникла гнетущая пустота.

Он пытался оправдать, защитить от самого себя Марину: ничего ведь страшного не произошло, они, охотоведы, привычны к крови, надо ли при виде ее всякий раз волноваться?

С глаз словно спала пелена. Смотреть по-другому на Марину он уже был не в силах... Все у нее по сортам — и панты, и поступки, и люди. Ко всему приценивается. И к нему прицениваласъ. И тогда, в институте, и вчера, когда расспрашивала про писательство и перспективы. Тогда он был оценен вторым сортом, а вчера, возможно, сошел и за первый. А может в первый сорт он попал еще раньше — когда она увидела его книжку, только потому и письмо написала, раньше ведь не писала.

...Пол под маралом снова подняли, щиты раздвинули, ярмо убрали, и он, почуяв свободу, одним прыжком вымахнул из станка и тут же упал — то ли споткнулся о что-то, то ли силы отказали. Поднявшись, зачем-то обернулся к станку. Его тоскующие глаза глянули на Марину, на панты, которые она все еще держала кончиками пальцев. Потом, неловко встряхнув обезображенной головой, он побежал дальше.

Марина, не подозревая о том, что творится в душе Андрея, подошла к нему и протянула склянку с кровью.

— Попробуй. Полезно, говорят. И совсем не противно.

Андрей отказался.

Потом в станке забился другой марал. Все стали смотреть на него. А Андрей тихо повернул свою послушную лошадь и поехал в поселок. Все в нем было выжжено, вытоптано, опустошено. Даже в тот злополучный день распределения он не был так угнетен, как теперь. Тогда он еще на что-то надеялся, а теперь наверняка знал, что потерял Марину навсегда.

В поселке Андрей сдал конюху лошадь, зашел в общежитие, взял плащ и отправился на шоссе. Спешить теперь было не к кому, он мог уехать и на попутной машине.

# СОДЕРЖАНИЕ



**Николаев Владислав Николаевич**
**МАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ**

Редактор С. Фалеева
Художник Г. Метелев
Художественный редактор Б. Попов
Технический редактор Л. Голобокова
Корректоры К. Ушакова, М. Гордеева

Сдано в набор 19/IX 1968 г. Подписано в печать 30/XII 1968 г. НС 14505. Бумага типографская № 2. Формат 70×108/32. Уч.-изд. л. 10,9. Усл. печ. л. 11,0 Тираж 30 000. Заказ 573. Цена 32 коп. Средне-Уральское Книжное Издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография издательства «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

: 14505. Бум
печ. л. 11,
ое Издате
льский ра

32 коп.

СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО • СВЕРДЛОВСК • 1969